

Лев Николаевич

Толстой

Хозяин и работник

(1894–1895 гг.)

Государственное издательство

художественной литературы

Москва – 1954

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 29–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

[www.tolstoy.ru](http://www.tolstoy.ru)

Предисловие и редакционные пояснения к 29-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

[report@tolstoy.ru](mailto:report@tolstoy.ru)

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте [readingtolstoy.ru](http://readingtolstoy.ru) к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте [tolstoy.ru](http://tolstoy.ru).

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Л. Н. Толстой в Бегичевке. Фотография 1892 г.

## ХОЗЯИН И РАБОТНИК

### I

Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу 2-й гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику, для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив, в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный; из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита, не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил

с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был 50-летний мужик из ближней деревни, не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал всё с себя, становился еще буен и придирчив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не 80 руб., сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет 20 жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смирение, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую крошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование всё отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей 20.

– Мы разве с тобой уговоры какие делали? – говорил Василий Андреич Никите. – Нужно – бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

– Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. – Но, но! поспеешь, дай прежде напою, – говорил он с лошастью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъединенную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и чолку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

– Балуй, балуй, шельмец! – приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

– Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси, – сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

– Поди, спроси, душа милая, – сказал ему Никита, – какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

– В махонькие так в махонькие, – сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда всё было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

– Вот и ладно. Но, но, не топырься! – говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежее-обмолоченную овсяную солому. – А теперь вот давай дерюжку так постелим, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, – говорил он, делая то, что говорил, – подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

– Вот спасибо, душа милая, – сказал Никита кухаркину мужу, – вдвоем все спорее. – И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

– Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. – Меня посади, – просил он, на ходу застегивая свой полушубок.

– Ну, ну, беги, голубок, – сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно – градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу, у бани, крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! – сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

– Право, Никиту бы взял, – говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

– С деньгами поедешь, – продолжала тем же жалобным голосом жена. – Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

– Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспрерывно провожатого нужно? – проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

– Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! – повторила жена,

перекутывая платок на другую сторону.

– Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

– Что ж, Василий Андреич, я готов, – весело сказал Никита. – Только лошадям корма бы без меня дали, – прибавил он, обращаясь к хозяйке.

– Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, – сказала хозяйка.

– Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? – сказал Никита ожидая.

– Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, – выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный подмышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

– Эй, душа милая, выдь поддержи лошадь! – крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

– Я сам, я сам! – запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

– Только не больно охорашивай дипломат–то свой, поживей! – крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

– Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, – проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

– Ну–ка, Аринушка, халат давай мой с печи – с хозяином ехать! – проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

– То–то тебе с хозяином просторно гулять будет, – сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что–нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

– Вот так–то, – сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс, – так не выскочишь, – и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. – Ну вот и ладно.

– Ты бы, Степаныч, ноги–то перебул, – сказала кухарка, – а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

– Надо бы... Ну да сойти и так, недалече!

И он побежал на двор.

– Не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

– Чего холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетой в двух шубах спиной почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

## II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходом тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

– Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! – крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. – Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заёкав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю Кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только по тому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, теперь изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

– Бегу ей настоящего нет, снежно, – сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадей. – Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

– Чаго? – спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

– В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, – прокричал Василий Андреич.

– Что и говорить, лошадь добрая! – сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

– Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? – заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

– Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

– Это так, – сказал Василий Андреич. – Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? – начал он новый предмет разговора.

– Да не миновать, – отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал всё слышать.

– Малый возрос, надо самому пахать, и то всё наймали, – сказал он.

– Что же, берите бескостречного, дорого не положу! – прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие – барышничество.

– А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, – сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

– Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. – Лошадь настоящая!

– Как есть, – сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

– Что, как думаешь, на Карамышево поедем, али прямо? – спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но – дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена, и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

– На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, – проговорил он.

– Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, – сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

– Воля ваша, – сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

– Чаго? – спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадь. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

– Чаго ты, говорю? – повторил Никита.

– Чаго, чаго! – передразнил его Василий Андреич сердито. – Вешек не видать! Должно, сбились!

– Так стой же, я дорогу погляжу, – сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был не глубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колена и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

– Ну что? – сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

– С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

– Вон что–то впереди чернеет, ты туда пойдй погляди, – сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, – это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

– Вправо ехать надо, – сказал он решительно. – Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! – решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги всё не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

– А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, – вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. – Это что? – сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из–под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

– А что? – спросил он.

– А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

– Вре? – откликнулся Василий Андреич.

– Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, – сказал Никита, – и по саням слышно – по картофелищу едем; а вон и кучи, – ботву свозили. Захаровское заводское поле.

– Вишь ты, куда сбились! – сказал Василий Андреич. – Как же быть–то?

– А надо прямо брать, вот и всё, куда–нибудь да выедем, – сказал Никита. – Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на оголенные зелены, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из–под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда выезжали в глубокий и везде одинаково белый, ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевила от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

– Чего держать! Заехали – выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! – закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

– Где же это мы? – сказал Василий Андреич.

– А вот узнаем! – отвечал Никита. – Трогай знай, куда-нибудь выедем.

– А ведь это, должно, Горячкинский лес? – сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

– Вот подъедем, увидим, какой такой лес, – сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жильё, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженьей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

– Вот и приехали, – сказал Никита, – а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженьей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они выехали на улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешенное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

– Вишь, баба ленивая, а либо умираеть, – белье к празднику не собрала, – сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

### III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметна, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

– А ведь это Гришкино, – сказал Василий Андреич.

– Оно и есть, – отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

– Кто едет? – крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

– А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? – сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

– Да мы в Горячкино было.

– Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

– Мало, что надо, да не потрафили, – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

– Лошадка-то добрая, – сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

– Что же, ночевать, что ли?

– Не, брат, обязательно ехать надо.

– Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

– А то кто же? – отвечал Никита. – А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

– Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, всё прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда – вправо.

– Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? – спросил Никита.

– По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая, дубовая, кудрявая стоит, – тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

– А то ночевали бы! – прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более, что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стучал ногами об кресла впереди едущих саней.

– Объезжай... а-а-й... передом! – кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахохлившись, в задке саней.

– Чьи будете? – закричал Василий Андреич.

– А-а-а... ские! – только слышно было.

– Чьи, говорю?

– А-а-а-ские! – изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.

– Вали! Не сдавай! – кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.

– От праздника, видно?

– Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

– Вино–то что делает, – сказал Никита. – На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени.

Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

– А ведь мы опять неладно едем, – сказал Василий Андреич.

– А что?

– Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

– А сбились с дороги, поискать надо, – коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

– Нет тут дороги, может впереди где, – сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

– Хоть бы тех мужиков услышать, – сказал Василий Андреич.

– Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, – сказал Никита.

– Куда же ехать–то? – сказал Василий Андреич.

– А пустить лошадь надо, – сказал Никита. – Он приведет. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых

перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

– Только не говорить! – приговаривал Никита. – Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

– И умен же, – продолжал радоваться на лошадь Никита. – Киргизенок – тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

– А ведь это опять Гришкино, – вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и даже та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые всё так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они выехали на улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

– Кто там? – откликнулся голос на призыв Никиты.

– С Крестов, Брехуновы, милый человек, – отвечал Никита. – Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две – слышно было – отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накиннутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

– Ты, что ли, Андреич? – сказал старик.

– Да вот заплутали, брат, – сказал Василий Андреич, – хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

– Вишь, как сбились, – сказал старик. – Петрушка, поди отвори

ворота! – обратился он к малому в красной рубахе.

– Это можно, – отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

– Да мы, брат, не ночевать, – сказал Василий Андреич.

– Куда ехать – ночное время, ночуй!

– И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

– Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, – сказал старик.

– Погреться – это можно, – сказал Василий Андреич, – темнее не будет, а месяц взойдет – посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

– Ну, что ж, и погреться можно, – сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, хлопывая с себя снег. – Вишь, заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои...

– А это, как сказано, три домашних советника, – сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

– Это как же советники? – сказал Никита.

– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не зевай, значит, смотри. Петух поет – значит, вставай. Кошка умывается – значит, дорогой гость, приготовься угостить его, – проговорил малый улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

– Это точно, – сказал Никита.

– Прозяб, я чай, дядюшка? – прибавил Петруха.

– Да, есть-таки, – сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

#### IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было 22 души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделинными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын-хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами – сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий – старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик – сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатах и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькой. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

– Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, – говорила она. – Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза

перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину–старика, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.

– Ну, и заиндевел же ты, дядя, – сказал старший брат, глядя на запущенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

– Не пью, благодарим покорно, – сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

– Что ж так? – сказал старший брат.

– Не пью, да и не пью, – сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

– Ему не годится, – сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

– Ну, так чайку, – сказала ласковая старушка. – Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

– Готов, – отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, – куст тут видать. А вы не доехали! – говорил сосед.

– А то ночевали бы. Бабы постелят, – уговаривала старушка.

– Утречком поехали бы, разлюбезное дело, – подтверждал старик.

– Нельзя, брат, дела! – сказал Василий Андреич. – Час упустишь, годом не наверстаешь, – добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. – Доедем ведь? – обратился он к Никите.

– Не сбиться бы опять, – сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не

предлагали.

– Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, – сказал Василий Андреич.

– Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

– Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил:

– Будьте здоровы, – и потянул в себя согревающую жидкость.

– Кабы проводил кто до поворота, – сказал Василий Андреич.

– Что же, это можно, – сказал старший сын. – Петруха запряжет да и проводит до поворота.

– Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

– И, чего ты, касатик! – сказала ласковая старушка. – Мы рады душой.

– Петруха, иди запряги кобылу, – сказал старший брат.

– Это можно, – сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу–старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

– Отбивается народ молодой от рук, – говорил старик.

– Как отбивается–то, – сказал кум–сосед, – сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин – так отцу руку сломал. Всё от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось всё теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго всё об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, – разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить – все по миру пойдут.

– Вот, как Матвеевы, – сказал сосед. – Был дом настоящий, а разделили – ни у кого ничего нет.

– Так-то и ты хочешь, – обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и всё время улыбающийся.

– Так-то у Пульпсона есть басня, – сказал он: – дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по пруту – легко. Так и это, – сказал он, улыбаясь во весь рот. – Готово! – прибавил он.

– А готово, так поедем, – сказал Василий Андреич. – А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

– Так фордыбачить, так фордыбачить, – плаксивым голосом говорил всё свое старик, – что нет с ним ладов. Как осатанел, ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахара, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда – на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь, она завоить, аж заплачет как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка, – подумал Василий Андреич, – пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, – думал он. – Да и по крайности спать ляжем во-время. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю

местность, а кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутят», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

– Пошел передом! – крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцей своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

– Ну, с богом!

– Спасибо, Петруха!

– Буря небо мглою скроить, – прокричал Петруха и скрылся.

– Вишь, стихотворец какой, – проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

– Да, молодец хороший, мужик настоящий, – сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегла ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным

узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, – считал Василий Андреич, – а вот впереди и лес», – подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажень 20, – четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», – думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса всё не было.

– А ведь мы опять сбились! – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

– Вправо ехать надо, – сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

– Ну, вправо, так вправо пошел, – сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

– Ну, дружок, потрудись! – крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колению, и сани подергивались рывком с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручу.

– Тпру, тпру, тпру, – говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

– Эко ты как! – укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

– Микит, а Микит! – кричал Василии Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхнулся, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услышал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

– Иду, иду, чего гогочешь! – проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

– Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, – сердито стал выговаривать Никите хозяин.

– И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда – и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

– Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, – сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже всё Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

– Андреич, жив? – крикнул он.

– Здесь! – откликнулся Василий Андреич. – Ну, что?

– Да не разберешь никак. Темно, овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазя по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

– Ну, что? – спросил Василий Андреич.

– Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

– Так что же делать?

– Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

– Держи за мной, – сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

– Сюда, за мной! – закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

– Вылезай! – закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. – Трудненько, брат, – обратился он к Мухортому, – да что же делать, понатужься! Но, но, немного! – крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как бы что-то обдумывала.

– Что же, брат, так неладно, – усовещивал Никита Мухортого. – Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

– Ну! но! не потонешь, небось! – кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

– Дай вздохнуть, – сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне, воротник шубы.

– Тут ничего, ты лежи, – сказал Никита, – я проведу, – и с Васильем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в ложине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятенной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать». Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

– Ты что ж это делаешь? – спросил Василий Андреич.

– Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, – как бы извиняясь, отвечал Никита.

– А разве не выедем куда?

– Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, – сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на всё готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. – Ночевать надо, – повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

– А не замерзнем мы? – сказал Василий Андреич.

– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита.

## VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадей, ободрял ее.

– Ну, выходи, выходи, – говорил он, выводя ее из оглобель. – Да вот

привяжем тебя тут. Соломки подложу да размуздаю, – говорил он, делая то, что говорил. – Закусишь, тебе всё веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подsunул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

– Теперь примету сделаем, – сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. – Вот как занесет нас, добрые люди по оглоблям увидят, откопают, – сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. – Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другой, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

– Ночевать – так ночевать! – сказал он решительно.

– Погоди же ты, я еще флаг сделаю, – сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и шелкая.

– Вишь, как ловко, – сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, – сказал он.

– Я место найду, – отвечал Никита, – только лошадь укрыть надо, а то взопрел, сердечный. Пусти-ка, – прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

– Всё теплее тебе будет, дурачок, – говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. – А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, – сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой, сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал всё о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, – о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажень 30 всё станет на десятине, – говорил он себе. – С десятины на худой конец по 200 с четвертной останется. 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу – сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас 3000 в зубы. Небось, размякнет, – думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. – И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был всё тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да всё одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к 9-му надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня – жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразована. Обхождения настоящего не знает», – продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно – женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор – и всё имущество в том. А я что в

15 лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, – размышлял он с гордостью. – Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» – подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту», – думал он. – «Ехать бы надо, всё бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полкой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его – только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было всё то же, но только казалось светлее. «Светает, – подумал он, – должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял всё задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развевающимися чолкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел всё в том же

положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», – подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Всё ее глупость одна!» – подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, – вспомнил он, – и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, – тут же представился ему другой случай, – так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде – и в шее, и в коленях, и в ступнях – грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, – но всё теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но всё ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита, как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно», – с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, – подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. – Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, всё веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он всё сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на

коленки, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» – подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх всё больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, славу богу. Эх, ночевать бы! – говорил он себе. – Говорят, пьяные-то замерзают, – подумал он. – А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, отчего он дрожит – от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались, не загоревшись.

«А, чорт тебя дери, проклятая, провались ты!» – обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом – да и марш», – вдруг пришло ему в голову. «Верхом лошадь не станет. Ему, – подумал он на Никиту, – все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся,

упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

– Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? – крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

## VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив, и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликнулся, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит не надолго, а что согреться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, итти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чувствовал на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось всё холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятностям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрерывающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? – подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и всё то, за что выговаривал ему поп на исповеди. – Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о

хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, – думал он. – От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, садясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал всё его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Итти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было, – оно всё было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» – проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал – он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

## VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, всё прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но

черное это было не неподвижно, а всё шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь всё воротила вправо, и потому он всё время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернело что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже навверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся; это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» – подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезающие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и всё задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя, или призывая кого на помощь, заржал своим громким, залившимся голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» – сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув на бок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за ней, но снег был так глубок, и

шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более 20 шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, – подумал он, – как же это всё останется? Что ж это такое? Не может быть!» – мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли всё это?» – и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю», – вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны, – всё это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать», – подумал он. – «Надо итти по следам лошади, а то и те занесет, – пришло ему в голову. – Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение итти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, – подумал Василий Андреич, – потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидел что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый со сбитой на бок шлеей и веретьем стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани.

## IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы

то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затаился кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы опрavit на ней шлею, седелку и веретье; – но в это время он увидел, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

– Чего ты? – спросил он. – Чего говоришь?

– Поми-ми-мираю я, вот что, – с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. – Зажитое малому отдай али бабе, всё равно.

– А что ж, аль зазяб? – спросил Василий Андреич.

– Чую, смерть моя... прости, Христа ради... – сказал Никита плачущим голосом, всё продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

– А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... – начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настрашался я, видно, ослаб вовсе», – подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», – говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена всё заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

– Микита! – сказал он.

– Хорошо, тепло, – откликнулось ему снизу.

– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось, не вывернется», – говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так полежал Василий Андреич час и другой и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становой, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом всё это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг

свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо итти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» – «Нет, – говорит, – не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. – «Миколавна, а Миколавна, что ж, всё нету?» – «Нету». – И он лежит на постели и всё не может встать, и всё ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но несколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и несколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит жив и я», – с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про Василья Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит всё существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом всё так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

Х

Пред утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробираться его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину.

Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, – говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. – Вынимай мешки!» Но воз всё холоднее и холоднее давит его, и вдруг стучает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает всё. Холодный воз – это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул – это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

– Андреич, а Андреич! – осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напряживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги – крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» – думает Никита.

Он поворачивает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь всё выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он», – думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно и меня зовешь, – говорит себе Никита. – Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в 30 сажнях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу с сбившимися со спины шлеей и веретьем стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услышал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливавших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а

остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить – сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему всё понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? – мы все скоро узнаем.

## ПЕЧАТНЫЕ ВАРИАНТЫ

### ХОЗЯИН И РАБОТНИК

Варианты текста по журналу «Северный вестник», 1895, № 3, стр. 137–175 (сокращенно: СВ) и по изданию С. А. Толстой: Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть четырнадцатая. Издание первое, Москва, 1895, стр. 83–161 (сокращенно: С).

#### Гл. I

Стр. 3, строка 7 сн.

Вместо: находящихся – в СВ и в С: находящиеся

Стр. 3, строка 6 сн.

Вместо: уложив – в СВ и в С: уложив их

Стр. 4, строка 17 св.

Вместо: бывшая красивая, – в СВ и в С: бывшая красивой,

Стр. 4, строка 4 сн.

После слов: и я тебя не оставлю – в СВ и в С: тебе нужда, – я вызволю.

Стр. 4, строка 3 сн.

Вместо: говоря это, – в СВ и в С: говоря всё это,

Стр. 4, строка 2 сн.

Вместо: благодетельствует Никите: – в СВ и в С: благодетельствует Никиту:

Стр. 4–5, строки 1 сн. – 1 св.

Вместо: и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их. – в СВ и в С: и так все, начиная с Никиты, поддакивали ему в этом убеждении.

Стр. 5, строка 18 св.

После слова: напою, – в СВ и в С: дурашка,

Стр. 5, строка 19 сн.

Слова: он – в СВ и в С нет.

Стр. 5, строка 11 сн.

Слова: засаленного – в СВ и в С нет.

Стр. 5, строка 9 сн.

После слова: лошадь – в СВ и в С: постояла,

Стр. 5, строка 7 сн.

Слов: замерла, как бы задумавшись, потом вдруг громко – в СВ и в С нет.

Стр. 6, строка 3 св.

Вместо: ему Никита, – в СВ и в С: Никита ему,

Стр. 6, строка 5 св.

Слов: железом крытый, на высоком фундаменте – в СВ и в С нет.

Стр. 6, строка 9 св.

Слов: а в – в СВ и в С нет.

Стр. 6, строки 11–12 св.

Слов: умную лошадь, – в СВ и в С нет.

Стр. 6, строка 12 св.

После слов: кусать его, – в СВ и в С: умную лошадь,

Стр. 6, строка 12 сн.

Вместо слов: тоненьким голоском – в СВ и в С: хлопнув щеколдой,

Стр. 6, строка 10 сн.

Вместо: просил он – в СВ и в С: Тоненьким голоском просил он,

Стр. 6, строки 4–3 сн.

Вместо: Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее; – в СВ и в С: Но на дворе казалось тихо. На улице же дул сильный ветер.

Стр. 6, строка 1 сн.

Слов: в ворота – в СВ и в С нет.

Стр. 7, строка 3 св.

Слов: кожей обшитыми – в СВ и в С нет.

Стр. 7, строки 4–7 св.

Вместо: утопанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папиросы, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять – в СВ и в С: утопанное снегом крыльцо и остановился, заправляя

Стр. 7, строка 11 св.

После слов: в санях. – в СВ и в С: и оскаливая свои белые зубы.

Стр. 7, строки 13–16 св.

Слов: Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. – в СВ и в С нет.

Стр. 7, строки 19–18 сн.

Вместо слов: и на слова ее, которые были ему очевидно неприятны, сердито нахмурился и плюнул. – в СВ и в С: только плюнул.

Стр. 7, строка 14 сн.

После слов: с тем – в СВ и в С: особенным

Стр. 7, строки 11–12 сн.

Вместо: с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог. – в СВ и в С: очевидно любясь своей речью.

Стр. 8, строка 8 св.

Вместо слов: я сам! – запищал мальчик, – в СВ и в С: я подержу! – сказал мальчик,

Стр. 8, строки 14–15 св.

Вместо: своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, – в СВ и в С: своими засалившимися валенками,

Стр. 8, строка 17 сн.

Вместо: начала поспешно отряхивать и разминать его. – в СВ и в С: отряхивала и разминала его.

Стр. 9, строка 2 св.

Вместо: на двор. – в СВ и в С: во двор.

## Гл. II

Стр. 9, строка 17 св.

Вместо: наследника, – в СВ и в С: сына,

Стр. 9, строка 15 сн.

Вместо: заметили, – в СВ и в С: почувствовали,

Стр. 9, строка 11 сн.

Вместо: где сходится земля с небом. – в СВ и в С: где земля сходится с небом.

Стр. 9, строки 7–5 сн.

Вместо: и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу. – в СВ и в С: сворачивал набок даже его подвязанный хвост и прижимал длинный воротник халата Никиты к его лицу и носу.

Стр. 9, строка 1 сн.

Слов: спросил, не расслышав из-за воротника, Никита. – в СВ и в С нет.

Стр. 10, строка 6 св.

Вместо: заговорил тем же громким голосом – в СВ и в С: сказал.

Стр. 10, строка 12 сн.

Слова: умственные – в СВ и в С нет.

Стр. 11, строки 6–7 св.

Вместо: и ему всему было не холодно. – в СВ и в С: и этот дух его, ему казалось, согревал его.

Стр. 11, строка 12 сн.

Вместо: Чаго? – в СВ и в С: Чего?

Стр. 12, строка 14 сн.

Вместо: Захаровском поле. – в СВ и в С: Захарьевском поле.

Стр. 12, строка 13 сн.

После слов: Василий Андреич. – в СВ и в С: говоривший уже совсем другим, чем дома, простым, мужицким голосом.

Стр. 12, строка 12 сн.

Вместо: Захаровское – в СВ и в С: Захарьевское.

Стр. 12, строка 2 сн.

Вместо: и сани гремели по колчам мерзлой земли. – в СВ и в С: на которых межи и сугробы были сверх снега занесены земляною пылью.

Стр. 12, строка 1 сн.

Вместо: выезжали – в СВ и в С: въезжали

Стр. 13, строка 4 св.

Вместо: Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. – в СВ и в С: Снег шел и сверху и поднимался снизу.

Стр. 13, строка 4 св.

После слов: поднимался снизу. – в СВ и в С: Иногда казалось, что они едут под гору, иногда казалось, что в гору, иногда казалось, что они стоят на месте, а что снежное поле бежит мимо их. – Оба молчали.

Стр. 13, строки 10–9 сн.

Слов: на возвышенья, повернула влево – в СВ и в С нет.

Стр. 13, строка 9 сн.

Вместо: по колена. – в СВ и в С: по колено.

Стр. 13, строки 5–4 сн.

Вместо: как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, – в СВ и в С: как зачернелся плетень риги,

Стр. 14, строка 2 св.

Вместо: они выехали на улицу. – в СВ и в С: они въехали в улицу.

### Гл. III

Стр. 14, строка 1 сн.

Слова: густого – в СВ и в С нет.

Стр. 15, строка 8 св.

Вместо: а тогда вправо. – в СВ и в С: а тогда влево.

Стр. 15, строка 16 св.

Вместо: не отвечал ему и потрогивал лошадь: – в СВ и в С: не отвечал ему, потрогивал лошадь,

Стр. 15, строки 18–17 сн.

Вместо: очутились в открытом поле. – в СВ и в С: выехали в открытое поле.

Стр. 15, строка 14 сн.

Вместо: ветер был встречный. – в СВ и в С: ветер был встречь.

Стр. 15, строки 2–1 сн.

Вместо: В санях сидели три мужика и баба. – в СВ и в С: В санях сидело три мужика и баба.

Стр. 16, строка 1 св.

Слов: засыпанный снегом – в СВ и в С нет.

Стр. 16, строки 2–3 св.

Вместо: Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, – в СВ и в С: Укутанная баба, засыпанная снегом, сидела смирно,

Стр. 16, строка 11 св.

Слов: – кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке. – в СВ и в С нет.

Стр. 16, строки 17–18 св.

Слов: тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, – в СВ и в С нет.

Стр. 16, строки 15–14 сн.

Вместо: сопенье... лошаденки – в СВ и в С: сопение... лошади

Стр. 16, строки 8–6 сн.

Вместо: и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. – в СВ и в С: и он задремал.

Стр. 17, строка 19 сн.

Вместо: стала поворачивать. – в СВ и в С: стала понемногу поворачивать.

Стр. 17, строка 4 сн.

Вместо: они выехали на улицу, – в СВ и в С: они въехали в улицу,

Стр. 18, строка 2 св.

Вместо: остановил ее у крыльца. – в СВ и в С: остановил ее у ворот. – Вызови-ка Тараса, – крикнул он Никите

Стр. 18, строка 11 св.

Слòва: высокий – в СВ и в С нет.

Стр. 18, строка 12 св.

Вместо: в накинутом полушубке – в СВ и в С: в высокой шапке и накинутом полушубке

Стр. 18, строка 15 св.

Вместо: Ты что ли, Андреич? – в СВ и в С: Просим милости –

Стр, 18, строка 16 сн.

Слов: Дела, брат, нельзя. – в СВ и в С нет.

Стр. 18, строка 9 сн.

Вместо: и очень желавший отогреть в тепле – в СВ и в С: и только

того и желавший, чтобы отогреть на печи

Стр. 19, строка 1 св.

Слова: по-щеньячи – в СВ и в С нет.

Стр. 19, строка 7 св.

Вместо: он, – в СВ и в С: Никита.

Стр. 19, строки 8–9 св.

Вместо: Да будет тебе! – в СВ и в С: Будеть тебе!

#### Гл. IV

Стр. 19, строка 5 сн.

Вместо: но и в нем уже шла – в СВ и в С: но и то уже в нем давно шла

Стр. 19, строка 1 сн.

Слова: старший – в СВ и в С нет.

Стр. 20, строка 2 св.

Вместо: гость-сосед и кум. – в СВ и в С: гость, соседа-старосты.

Стр. 20, строка 10 св.

Вместо: лысый, белобородый – в СВ и в С: белобородый, лысый

Стр. 20, строка 10 св.

Вместо: домотканной – в СВ и в С: дома тканной

Стр. 20, строка 14 св.

Вместо: сосед – в СВ и в С: староста.

Стр. 20, строка 17 сн.

Вместо: говорила она – Выкушай, касатик. – в СВ и в С: сказал старик.

Стр. 21, строка 5 св.

Слова: жиденькие – в СВ и в С нет.

Стр. 21, строка 20 св.

Вместо: сосед. – в СВ и в С: староста.

Стр. 21, строки 3–2 сн.

Вместо: свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. – в СВ и в С: свои озябшие руки.

Стр. 22, строка 19 св.

Вместо: кум–сосед, – в СВ и в С: староста,

Стр. 22, строка 5 сн.

Вместо: сосед. – в СВ и в С: староста.

Стр. 23, строка 18 сн.

Слòва: дрожавших – в СВ и в С нет.

Стр. 23, строки 4–3 сн.

Слов: Больше просить нечего. – в СВ и в С нет.

Стр. 23, строки 1–3 св.

Вместо: Петруха же и не думал об опасности; он так знал дорогу и всю местность, а кроме того стишок о том, что «вихри снежные крутять» бодрил его тем, что совершенно выражал – в СВ и в С: Петруха тоже видел, что ехать опасно, и ему было жутко, но он ни за что не показал бы этого и храбрился, притворяясь, что он ни крошечки не боится, и стишки о том, как «вихри снежные крутять» бодрили его тем, что совершенно выражали

## Гл. V

Стр. 25, строка 7 св.

Вместо: качавшуюся – в СВ и в С: качающуюся

Стр. 25, строка 14 св.

Вместо: поправлял – в СВ и в С: направлял

Стр. 25, строки 18–17 сн.

Вместо: и то иноходью, то небольшой рысцой бежало – в СВ и в С: и бежало то иноходью, то небольшой рысцой

Стр. 25, строка 5 сн.

После слов: в рукава. – в СВ и в С: – Хоть бы назад в Гришкино вывезла, – сказал он.

Стр. 26, строка 18–17 сн.

Вместо: Никита, а Никит! – кричал Василий Андреич сверху. Но Никита не откликнулся. – в СВ и в С: Микит, а Микит! – кричал Василий Андреич сверху. Но Никита не откликнулся ему.

Стр. 26, строка 8 сн.

Вместо: крики – в СВ и в С: крик

Стр. 27, строка 18 св.

Вместо: Андреич, – жив? – в СВ и в С: Василий Андреич, живы?

Стр. 27, строки 19–18 сн.

Вместо: опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил – в СВ и в С: опять ходил Никита, падая по снегу, опять садился, опять падал

Стр. 28, строки 3–4 св.

Вместо: и опять села, как бы что-то обдумывала. – в СВ и в С: и опять села. Она поводила ушами и нюхала снег, положив голову на снег, как будто что-то обдумывала. –

Стр. 28, строки 18–19 св.

Вместо: вниз шагов десять – в СВ и в С: вниз еще шагов десять

Стр. 28, строки 20–19 сн.

Вместо: где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, – в СВ и в С: где бы снег оставался,

Стр. 28, строка 19 сн.

Вместо: краем оврага – в СВ и в С: бугром

Стр. 28, строка 18 сн.

Вместо: когда ветер – в СВ и в С: когда за бугром ветер

Стр. 28, строка 9 сн.

Вместо: заткнув – в СВ и в С: засунув

Гл. VI

Стр. 29, строка 20 сн.

Вместо: будет. – в СВ: будеть.

Стр. 29, строка 7 сн.

Слов: похлопывая рукавицами и надевая их. – в СВ и в С нет.

Стр. 29, строка 5 сн.

Вместо: серную спичку – в СВ и в С: фосфорную спичку

Стр. 30, строка 8 св.

После слов: сказал он решительно. – в СВ и в С: И увидав поднятые оглобли, ему захотелось еще усилить приметы и поучить Никиту.

Стр. 30, строки 10–13 св.

Вместо: и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли. – в СВ и в С: И он, сняв перчатки и вытянувшись, чтоб достать, тугим узлом привязал платок к чресседельнику подле оглобли.

Стр. 30, строка 15 св.

Вместо: натягиваясь и щелкая. – в СВ и в С: натягивался и щелкал.

Стр. 30, строки 17–18 св.

Вместо: опускаясь в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, – в СВ и в С: влез в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядешься, –

Стр. 30, строка 15 сн.

Вместо: и шлею. – в СВ и в С: и тяжелую шлею.

Стр. 30, строка 12 сн.

Вместо: Никита, – в СВ и в С: он

Стр. 31, строки 7–11 св.

От слов: Покупка Горячкинского леса и кончая: пересчитал все деревья». – в СВ и в С нет.

Стр. 31, строки 13–17 св.

Вместо: говорил он себе. С десятины на худой конец по 200 с четвертной останется. 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. – в СВ и в С: расценивал он виденную им осенью рощу, которую ехал покупать.

Стр. 31, строки 17–16 сн.

Вместо: Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был – в СВ и в С: Он приоткрыл воротник и стал прислушиваться и глядеть: видна была в темноте только чернеющая голова Мухортого и его спина, на которой развевалось веретье: слышен же был

Стр. 32, строки 7–8 св.

Слов: Вот так-то заночуй в поле, да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается», размышлял он с гордостью. – в СВ и в С нет.

Стр. 32, строка 10 св.

Вместо: Трудись. – в СВ и в С: Трудились.

Стр. 32, строка 16 св.

Вместо: ему очки. – в СВ и в С: очки ему.

Стр. 32, строки 22–16 сн.

От слов: Он приподнялся – и кончая словами: иногда еще более гущающаяся – в СВ и в С нет.

Стр. 32, строка 8 сн.

Вместо: ухитрился зажечь одну и закурил. – в СВ и в С: ухитрился закурить. Папироска зажглась и

Стр. 32, строки 4–3 сн.

Вместо: вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал. – в СВ и в С: вспоминать и мечтать и задремал

Стр. 32, строка 2 сн.

Вместо: толкнуло – в СВ и в С: толкнуло

Стр. 33, строки 14–15 св.

Вместо: То-то народ бестолковый. Истинно необразованность. – в СВ и в С: Да и замаялся он бегамши, а капитал в нем плохой.

Стр. 33, строки 14–13 сн.

Слов: опять и теперь – в СВ и в С нет.

Стр. 33, строка 6 сн.

Слов: «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». – в СВ и в С нет.

Стр, 34, строки 8–9 св.

Слов: и трепавшего платок, – в СВ и в С нет.

Стр. 34, строка 15 св.

Вместо: Василий Андреич – в СВ и в С: Так Василий Андреич

Стр. 34, строки 15–14 сн.

Слов: на локти и на коленки, – в СВ и в С нет.

Стр. 34, строки 6–5 сн.

Слов: собираясь терпеливо ждать – в СВ и в С нет.

Стр. 35, строка 7 сн.

Слов: шубы и сапоги были так тяжелы, что он – в СВ и в С нет.

Стр. 35–36, строки 1 сн. – 1 св.

После слов: ступнями ног – в СВ и в С: вместо стремян,

## Гл. VII

Стр. 36, строка 15.

Вместо: и откликаться. – в СВ и в С: Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему в то время, когда он усаживался за санями.

Стр. 36, строки 21–18 сн.

Вместо: чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, итти дальше, и хозяин видит, что надо кормить. – в СВ и в С: чувствовал себя сильно усталым, чувствовал себя в том состоянии, в котором чувствует себя лошадь, когда она становится и ее надо кормить,

Стр. 36, строка 17 сн.

Перед словами: Одна нога – в СВ и в С: Кроме того

Стр. 36, строка 16 сн.

Слов: кроме того – в СВ и в С нет.

Стр. 36, строки 15–13 сн.

Вместо: Мысль о том, что он может и даже по всем вероятностям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта – в СВ и в С: Мысль о том, что он умрет в нынешнюю ночь,

Стр. 36, строка 7 сн.

Слов: всегда в этой жизни – в СВ и в С нет.

Стр. 36, строка 2 сн.

Вместо: подумал он и вспомнил – в СВ и в С: пришло ему в голову и он вспомнил

Стр. 37, строка 7 св.

Вместо: тем воспоминаниям, – в СВ и в С: тем мыслям и воспоминаниям,

Стр. 37, строка 14 св.

Вместо: эти воспоминания – в СВ и в С: эти воспоминания и мысли

Стр. 37, строка 12 сн.

Вместо: И в санях, он чувствовал, что не согреется, – в СВ и в С: в санях же, он чувствовал, что не согреться.

Стр. 37, строки 11–10 сн.

Вместо: теперь совсем не грели его. – в СВ и в С: ничего не грели его.

Стр. 37, строка 9 сн.

От слов: Ему стало жутко. – и кончая словами: успокоило его. – в СВ и в С нет.

Стр. 37, строки 7–5 сн.

Вместо: он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина. – в СВ и в С: Он постоял, подумал, потом вздохнул и, не снимая с головы дерюжку, повалился в сани на место хозяина.

Стр. 37, строка 4 сн.

Вместо: Но и в санях он – в СВ и в С: Он ужался в комочек в самом низу саней, но

Стр. 37, строки 4–3 сн.

Вместо: Сначала он дрожал всем телом, – в СВ и в С: Так пролежал он минут пять, дрожа всем телом.

Стр. 37, строка 1 сн.

После слов: готовым на то и на другое. – в СВ и в С: Велит бог проснуться еще живым здесь в этом мире и попрежнему жить в работниках, убирать всё тех же чужих лошадей, ездить с чужой рожью на мельницу, всё так же загуливать и зарекаться и так же отдавать деньги жене и всё тому же бондарю и дожидаться всё того же малого, – его святая воля. Велит бог проснуться в ином мире, где будет всё также ново и радостно, как были новы и радостны здесь в первом детстве ласки матери, игры с ребятами, луга, леса, катанье зимой, и начнется ни на что не похожая другая, новая жизнь, – его святая воля. И Никита совершенно потерял сознание.

## Гл. VIII

Стр. 38, строка 7 св.

Вместо: седелкой – в СВ и в С: седелкой, убитой гвоздиками,

Стр. 38, строки 16–19 св.

Вместо: а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра. – в СВ и в С: а межа, поросшая торчавшим из-под снега высоким чернобыльником, сгибаемым всё в одну сторону свиставшим через него ветром.

Стр. 38, строка 12 сн.

Вместо: чернобыльником. – в СВ и в С: бурьяном.

Стр. 38, строки 3–1 сн.

Вместо: в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезающие, как только он вглядывался в них – в СВ и в С: в которой он ничего не видел, кроме изредка показывающихся ему и тотчас же исчезающих светящихся точек.

Стр. 39, строка 12 св.

Вместо: страха, – в СВ и в С: своего страха,

Стр. 39, строки 18–20 св.

Вместо: руки и ноги его дрожали и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной пустыни, и не видит никакого средства спасения. – в СВ и в С: и всё дрожало. Он уже забыл думать о сторожке и желал теперь только одного: вернуться к саням, чтобы не пропасть одному, как тот чернобыльщик среди этой ужасной снежной пустыни.

Стр. 39, строка 9 сн.

Слов: железом крытый дом и амбар, наследник, – в СВ и в С нет.

Стр. 39–40, строки 1 сн. – 1 св.

Слов: правую руку, с которой он потерял перчатку, – в СВ и в С нет.

Стр. 40, строки 4–5 св.

Вместо: святителю отче Николае, воздержания учителю, – в СВ и в С: Николай чудотворец, воздержания учителю,

Стр. 40, строка 15 св.

Слов: подумал он, – в СВ и в С нет.

Стр. 40, строки 16–17 св.

Вместо: «Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь. – в СВ и в С: и он бросился вперед.

Стр. 40, строки 18–19 св.

Вместо: он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. – в СВ и в С: он бежал, беспрестанно падал, поднимался и опять падал.

Стр. 40, строка 17 сн.

Слов: и лошади не догоню. – в СВ и в С нет.

Стр. 40, строка 15 сн.

Слов: с платком – в СВ и в С нет.

Стр. 40, строка 14 сн.

Вместо: на бок шлеей, – в СВ и в С: на бок седелкой и шлеей.

Гл. IX

Стр. 40, строки 3–2 сн.

Вместо: теперь совершенно прошел, – в СВ и в С: совершенно прошел теперь,

Стр. 41, строки 2–3 св.

Вместо: надо было делать что–нибудь, чем–нибудь заняться. – в СВ и в С: Надо было не думать о себе, надо было думать о чем–нибудь другом, надо было делать что–нибудь.

Стр. 41, строка 6 св.

Вместо: из левой перчатки – в СВ и в С: из перчаток,

Стр. 41, строки 6–8 св.

Слов: правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где–нибудь на две четверти под снегом, – в СВ и в С нет.

Стр. 41, строка 8 св.

Слова: он – в СВ и в С нет.

Стр. 41, строка 10 св.

Вместо: и приготовился – в СВ и в С: przygotowляясь

Стр. 41, строки 17–18 св.

Вместо: замерзавший уже Никита – в СВ и в С: мужик

Стр. 41, строки 19–20 св.

Вместо: махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что–то, – в СВ и в С: махал перед носом рукой и говорил что–то,

Стр. 41, строка 3 сн.

Вместо: Заправив – в СВ и в С: заправляя

Стр. 42, строка 2 св.

Вместо: прислушивался к дыханию Никиты. – в СВ и в С: слушал дыхание Никиты.

Стр. 42, строка 5 св.

Вместо: помираешь. – в СВ и в С: помирать.

Стр. 42, строка 15 св.

Вместо: торжественное умиление. – в СВ и в С: умиленное торжество.

Стр. 42, строки 15–9 сн.

От слов: Так он лежал долго. – и кончая: лежащего под собой мужика.  
– в СВ и в С нет.

Стр. 42, строка 4 сн.

После слов: Страха он теперь не испытывал никакого. – в СВ и в С:  
Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки,  
которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых  
ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Но он не думал  
о них, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой  
мужика.

Стр. 42, строка 3 сн.

Вместо: говорил – в СВ и в С: говаривал

Стр. 43, строки 1–2 св.

Вместо: час и другой и третий, но он не видал, как проходило время.  
– в СВ и в С: довольно долго.

Стр. 43, строка 14 сн.

Слова: Миколавна, – в СВ и в С нет.

Стр. 44, строка 5 св.

После слов: говорит он себе – в СВ и в С: И что-то совсем новое,  
такое, что он не знал во всю жизнь свою, сходит на него.

Гл. X

Стр. 44, строка 15 сн.

Вместо: переезжая ручей, – в СВ и в С: у Ляпина

Стр. 44, строка 5 сн.

Вместо: копытом – в СВ и в С: копытами

Стр. 45, строка 6 св.

Вместо: и ни движенья, ни дыханья – в СВ и в С: и движенья и дыханья

Стр. 45, строки 7–6 сн.

Вместо: и такое же тело; но когда понял, – в СВ и в С: когда же

понял,

## ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ

### ХОЗЯИН И РАБОТНИК

Первая черновая редакция

Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николина дня. В приходе был праздник, и дворнику Василию Андреичу нельзя было отлучиться, надо было быть в церкви – он был церковным старостой, надо было принять и угостить родных и гостей. Но вот последние, дальние гости на другой день уехали после обеда, и Вас[илий] Андр[еич] велел Никите, старому Никите, Никите Дронову, запретить Мухортого в пошевеньки с тем, чтобы выехать вместе с гостями. Вас[илий] Андр[еич] торопился ехать, п[отому] ч[то] слух про продажу Пироговской рощи теперь уже разошелся, и Логинов, другой дворник-купец, мог перебить покупку, а покупка должна была быть особенно выгодная. Продавалась роща на сруб; продавец – молодой, прожившийся барин, не знающий толку в своем добре, так что рощу можно было надеяться купить, если не за пятую часть, то за треть цены. Никита выехал. Вас[илий] Андр[еич], одевшись в полушубок, подтянутый ремнем, и крытый тулуп, вышел на крыльцо, заправляя воротник тулупа мехом внутрь.

– Как же ты, Вася, один поедешь, видишь, закурило как, – сказала жена, выйдя за ним в утопанные снегом сени. – Хоть Никиту возьми, всё веселее ехать.

– И на что его!

Василий Андреич был немного выпивши, красен и весел, каким он всегда бывал с первых рюмок.

– Право, возьми – дело к ночи. Всё веселей, мне думаться не будет.

– Слышь, Никита, хозяйка велит ехать. Что скажешь?

– Да мне что? Ехать так ехать, всё одно.

Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, сухой, здоровый старик. Он всю свою жизнь прожил в людях, подавая всё в дом сначала отцу, а теперь меньшому брату. Теперь он уж 6-ой год жил у Вас[илия] Андреевича.

– Коли ехать, так оденься, – сказал Вас[илий] Андр[еич], глядя на прорванный подмышками и в спине полушубок Никиты.

– Ей, Семка, поддержи лошадь, – крикнул Никита во дворе работнику.

– На что его, я поддержу, – сказал В[асилий] А[ндреич], сходя с крыльца. – Ну, поживей.

– Одним духом, – крикнул Никита и, выкинув из саней свои ноги в подшитых валенках, побежал рысью во двор в рабочую избу. Никита тоже выпил нынче, но уже и выпался после обеда и выпил как всегда впору, не теряя ума.

– Ну-ка, Арина, халат давай, с хозяином ехать, – крикнул он, входя в избу и охлопывая с себя снег. Баба подала ему суконный домодельного сукна халат, Никита снял кушак с гвоздя, втянул в себя брюхо, велел бабе обвести узенький свалявшийся кушачок и затянулся, что было силы, сунул рукавицы за пояс и выбежал на улицу.

На дворе было за навесами тихо, но на улице мело и снежок мелкий и сухой, морозный, косо и ровно сыпался на сарай, на крышу, на дорогу, на хомут, на сани.

– И не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка.

– Вона холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, садясь на краешек и наперед выпуская одну ногу. Весь гнутый задок был полон спиной Василия Андреича в его двух шубах. Никита хотел взять вожжи, но хозяин не дал их ему. Так что Никите осталось только достать кнут в головашках и расправить в них наложенную под сиденье свежемолоченную овсяную солому.

– Совсем, что ль? – сказал хозяин и, не дожидая ответа, чмокнул, и добрый некрупный, но ладный и сытый гривистый жеребец – его недавно задешево выменял Вас[илий] Андр[еич] у попа – с легким скрипом полоза по дороге сдвинул санки и бойкой рысцей тронулся по накатанной в поселке дороге. Снег не переставал падать, и не успели они выехать из домов, как уж и шапки, и рукава, и спины, и хомут, и грива, и хвост, и седелка были уже засыпаны слоем мелкого морозного снега.

Снег всё шел так же, а ветер, как только они выехали на изволок, показался сильнее. Он дул им в бок со стороны Никиты и запахивал ему его воротник, и давил его в бок, и засыпал мелким снегом. Наверху местами совсем не видно было дороги, но добрый жеребец, несмотря на то, что местами снег был ему кое-где выше бабки, не изменял хода и легко бежал, изредка пофыркивая и не сбиваясь с дороги.

Оба ездока были возбуждены, веселы и надежны.

– На Карамышево поедем, али проселком? – спросил хозяин.

– Вали проселком, только тут лощинку проехать, а там лесом хорошо

будет.

Вас[илий] Андреевич так и сделал и. отъехав с полверсты, свернул влево.

– Хорошо видно, – сказал Вас[илий] Андр[еич], отвечая на свои сомнения и приглядываясь к полозному кое-где наполовину, а кое-где и совсем занесенному следу.[1]

– Как же, народу сколько ехало от праздника. Тележинские, Никитские.

С полчаса они ехали молча. Никите дремалось. Он совсем было забылся и клюнул носом. Очнувшись, он посмотрел вокруг и вперед себя. Дороги совсем не б[ыло] видно, но лошадь бойко бежала, казалось, по одному направлению.

– Эх, умна лошадь, – сказал Никита. – Киргизенок, тот хоть и крепок, а глуп, а этот, вишь, как человек, умнее человека другого. Знает, где дорога.

– Ну, тоже не больно верь ему. Недаром пословица: не верь лошади в поле, а жене в доме.

– Да, это точно. А Миколавна-то, видно, забоялась, что собьешься один с дороги.

– Известно, женщина.

– Всё веселее вдвоем.

– Известно.

Они проехали с 1/2 часа. Ветер и снег всё усиливались.

– Вот только тут не сбиться, а то от колодца уж не ошибемся, – сказал Вас[илий] Андр[еич].

– Доедем, чего не доехать. На такой лошади да не доехать.

– Чего ты?

Вас[илий] Андр[еич] что-то сказал, но ветер подхватил его слова и отнес их так, что Никита не расслышал.

Вас[илий] Андр[еич] не отвечал и заглядывал вперед по дороге. Лошадь шла уже всё время выше щетки в снегу. Снегу в этом году было мало, в поле не больше как вершков на 5, так что везде была дорога. Лошадь шла той же рысью, но уже чувствовались ее усилия, она брала рывом, и сани подергивались с каждым ее шагом. Под шлеей на сытом заду снег таял, и шерсть темнела от пота, тоже и на шее и на боках.

– Влево бери, – сказал Никита, – вовсе влево, ты куда забрал. Влево, говорю. Ветер мне в правый бок, а теперь прямо в морду.

Вас[илий] Андр[еич] взял влево, но как только он взял влево, лошадь осунулась по колено и пошла шагом.

Они проехали так молча несколько времени; ветер казался всё сильнее и сильнее и отчаянно трепал полу и воротник Никиты, снег сыпался чаще и косее, трудно было видеть.

– Стой, Андреич! Мы неладно едем. Вовсе неладно. Это что? – сказал Никита, указывая на видневшуюся из-под снега между, поросшую полынем, который отчаянно сгибался и махался от свистящего в нем ветра. – Стой, говорю, – действительно крикнул Никита. Вас[илий] Андр[еич] остановил лошадь, уже вспотевшую всю и тяжело водившую крутыми боками.

– А что? – спросил Вас[илий] Ан[дреич].

– А то, что это полынь по жнивью по Захаровскому, мы вон куда заехали.

– Врешь.

– Вот-те врешь. Кабы мы на Ивановском поле были, мы бы на зеленях были. Глянь-ка сюда. – Никита встал, взял кнут и стал копать снег кнутовищем и ногой. – Во, глянь – жниво.

– Ну, да всё одно, выедем, только вершину миновать, левее брать.

– Известно, выедем, бери прямо.

Вас[илий] Андр[еич] послушался и пустил лошадь, как велел Н[икита]. Они молча проехали еще несколько времени. Впереди сквозь сетку косога снега, падавшего сверху и подымавшегося снизу всё пуще и пуще, зачернелось что-то.

– Вот и лес Сатинский, – сказал Вас[илий] Ан[дреич]. Никита молчал. И почмокал языком. Он видел, что это не лес, видел п[отому], ч[то] ветер пронес оттуда листки не дубовые, а сухие лозиновые. Но он ничего не сказал. Вдруг лошадь стала круто спускаться. Вас[илий] Ан[дреич] хотел остановить.

– Ступай, выедем. Это Машкин верх, а энто не лес, а ветлы. Грушкино, должно.

Действительно, лошадь спустилась – в низочке было потише – и тотчас же стала круто подниматься. Только что она поднялась, как то, что казалось лесом, стало перед самым носом. Это точно были лозины, голые с кое-где трепавшимися на них листьями, гнувшиеся от ветра и странно свистевшие и гудевшие.

– Я говорю, Гришкино. Бери влево, по канаве. Вот и рига видать.

Действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст 8 не совсем в том направлении, к[ак] им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До

Пирогова, куда они ехали, оставалось верст 5. За ригой они повернули в проулок и выехали в улицу. В улице за ветром было тихо, тепло, дорога была виднешенька, и слышались песни девок у двора. В Гришкине тоже был праздник.

– Друг, стой. До тебя слово есть. А, Вас[илий] Андр[еич], – окликнул встретившийся на улице выпивший мужик.

Вас[илий] Андр[еич] остановился. Мужик подошел вплоть к саням, снял и надел шапку.

– Куда же это тебя бог носит?

– Да мы в Пирогово было.

– Куда же вы заехали-то. Видно, сбились. Что же, заходи. Бражки нашей выпей.

– Некогда, брат Исай, заезжать. Надо ехать до ночи.

– Чего же тут, поспеешь. А то ночуй, куда же на ночь глядя ехать. Заворачивай, – говорил Исай, хватаясь за вожжу.

– Некогда, другой раз заеду. А ты вот скажи, как нам тут не сбиться опять?

– Где же тут сбиться, прямо на Молчановку, как выедешь на большак, сейчас влево, тут и есть Пирогово.

– Поворот-то с большака где, по летнему или по зимнему? – спросил Никита.

– По зимнему. Сейчас как выедешь, тут и есть.

– Поедем, что же, до Молчановки всё доедем.

Поехали дальше. В деревне было тихо, весело от песен; по дороге был виден навоз и пахло им. Но как только выехали за околицу, опять засвистела буря, понесло снизу и упорно мело с занесенной снегом крыши сарая, стоявшего на выезде.

Лошадь шла еще всё бодро, и дорога, казалось, не пропадала; ветер теперь был почти встречь. Поехали ровной рысцой и молча ехали полчаса, час, деревни всё не было.

– А ведь мы опять видно неладно едем, – сказал Вас[илий] Андр[еич].

– Известно, неладно. Похоже, смеркаться стало, а деревни нет. Видно, сбились. Ты напрасно влево воротил, вправо надо, – сказал Никита.

– Да он всё влево воротит.

– А воротит, так пущей. Куда-нибудь да вывезет.

В[асилий] А[ндреич] пустил вожжи, и только что он пустил, как лошадь тотчас же стала поворачивать; поворачивая, казалось, она совсем обратно пошла. Ветер стал дуть сзади, казалось теплее. Стало уже совсем смеркаться. И не прошло получаса, как впереди зачернело что-то, постройки или деревня, и вдруг сани стали скользить легче и под ногами лошади было меньше снега. Очевидно, они ехали по дороге.

– Тьфу ты! – вдруг проговорил Никита. – Ведь это опять Гришкино.

Опять они въехали в улицу, опять стало тише, теплее, только с крыши сдувало снег, была видна дорога, слышались голоса, и в окнах светились приветные огни.

– Заворачивай ко двору. Надо спросить толком, – сказал Никита.

В[асилий] А[ндреич] повернул лошадь через сугроб и остановил ее у ворот. Никита подошел к окну, постучал кнутовищем.

– Чего! Кто там? – откликнулся голос.

– Отложи, выдь-ка на час.

Долго говорили там, наконец, вышел мужик в одной белой праздничной рубахе и малый за ним в красной.

– Да вы чьи же будете?

– Вас[илий] Андр[еич] из Микольского.

– А, Андреич. Заходи, замерз, я чай. Петрушка, поди отвори ворота.

– И то, зайти погреться нечто.

– Прямо к самовару, – сказал хозяин.

Вас[илий] Андр[еич] начинал озябать дорогой, да и лошадь уморилась, а темнее уж не будет. Светлее будет, месяц взойдет, да и затихнет, может, погода. И Вас[илий] Андр[еич] пошел в избу, Никита ввел лошадь под навес и сам вошел в избу. Ему хотелось не то что погреться, но и вовсе ночевать. Двор, в к[оторый] они заехали, был один из самых богатых в деревне; две избы кирпичные, 6 лошадей, 4 сына женатых, двое ребят. Все жили вместе, не делясь, держали 4 надела. Часть семьи была уже на полатях и печке, а часть, старик и два сына и две снохи, сидели за столом. Они знали Вас[илия] Андр[еича], продаывали ему овес и гречу.

– Заходи, заходи.

Вас[илий] Андр[еич] отряхнулся, разделся и не отказался от чая. Пришел и Никита, и ему дали чаю. Рассказал Вас[илий] Андр[еич], как они сбились, как плутали; подивились хозяева, догадались, где они сбились, и научили, как надо было ехать.

– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на

повороте с большака. Куст тут видать. А вы не доехали? – говорил бойкий второй молодой хозяйский сын в красной рубахе.

– Ночуйте, – сказал старик.

– Нельзя, дело; вот бы проводил малый до поворота, тогда уже доедем.

– Проводить можно.

– Ну что, Никита, как думаешь? – спросил В[асилий] А[ндреич].

– Да мне что, ехать так ехать. Коли Семка проводит до поворота, там уже не собьемся, лесом до самого места.

Поколебался в душе Вас[илий] Андр[еич], но страх пропустить выгодную покупку взял верх над страхом перед метелью.

Семка запрег розвальни, ворота отворили, вывели Мухортого, к[оторый] немилосердно ржал на Семкину лошадь, выехал и Семка в шубе и кафтане, стоя на коленях в розвальнях. Старик хотел посветить фонарем, но фонарь тотчас же задуло. Метель и в деревне даже, казалось, разыгралась сильнее. Но после чая было тепло, бодро, и Вас[илий] Андр[еич] с Никитой опять тронулись по той же дороге. Опять тот же сарай, с кот[орого] ссыпало бесконечный снег, те же шумящие, свистящие и гнущиеся лозины, тот же – казалось, еще более злой – пронизывающий ветер и тот же снег сверху и снизу, поднимаемый каждым шагом лошадей. Но Семка ехал развалистой рысцей своего мерина впереди и бодро покрикивал. – Проехали так минут десять. Семка обернулся и что-то кричал. Они не слышали от ветра. Но Семка остановился, поровнялся с ними, указал на кустик и показал им дорогу влево.

– Тут не собьетесь, держи только прямо, – сказал Семен. – Кабы не снег, лес видно. Да и то вон маячит. Ну, с богом.

Они повернули и поехали. Семка с своими санями тотчас же скрылся. Вас[илий] Ан[дреич] оглянулся на него, и вдруг ему стало жутко.

Но бояться, казалось, нечего было, до леса было полверсты и должен был быть сейчас виден. Но отчего беспокойство нашло на Вас[илия] Андр[еича]? Вместо того, чтобы оставить лошадь итти, как она хочет, он старательно правил ею и все сбивал ее с дороги. Он знал, что дороги не видно, но ему всё казалось – то оглобля, мотавшаяся перед ним, то гуж – дорогой и он сбивал лошадь то вправо, то влево. Никита же между тем, согрешившись после чая, съезился так, что борода облегла его шею, повесил голову и совсем задремал. Видит он во сне, как Арина белые пироги высадила, а Петрушка их дегтем хочет мазать, а хозяйка приходит, велит самовар унять. Гудит самовар так, что ужас всех взял, и нельзя его унять. Залить надо... И хочется Никите залить и боязно, как бы не распаялся.

– Микита! – вдруг разбудил его голос Вас[илия] Андр[еича], и голос дрожит, точно озяб. – Микита, а ведь мы опять сбились! Совсем лошадь становится.

Ник[ита] открыл глаза, всё тот же занавес снега, так же свистит, рвет, лошадь мокрая вся и идет шагом. И ничего не видно.

– Да ты пущей ее!

– Пускал уже, она сама кружит, как бы нам не...

– Эка ты. Заробел чего? Давай вожжи, – Никита взял вожжи, тронул вожжами. Лошадь шла шагом.

– Ну, заснула. – Никита достал кнут. Хорошая лошадь рванулась, пошла рысью, но слышно было, как она пыхтела. Ветер опять стал встречь.

– А вон они впереди никак виднеются... – сказал Василий Андреич.

– Чего виднеется, ничего не виднеется.

Так проехали минут 5. Вдруг лошадь круто остановилась и, несмотря на кнут, не двигалась вперед.

– Стой! Надо посмотреть.

Никита вышел из саней и зашел к голове лошади и только что хотел ступить шаг вперед ее, как ноги его поскользнулись, и он покатился под крутой овраг и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный толстый слой снега на дне.

– Микита, а Микита! – кричал В[асилий] А[ндреич], но голос его не слышен б[ыл] Никите. Он прежде всего отыскал кнут, к[оторый] он выронил, а потом, найдя его, полез б[ыло] прямо, но скатился опять и пошел искать выхода, где бы было не так скользко. Он вылез сажени на три от лошади и с трудом увидел ее. Одно время она ему показалась вправо, и он чуть было не пошел вправо, т. е. прочь от лошади. Спасибо Мухорт[ый] заржал, и он услышал, а потом и увидел его. Добравшись с трудом до лошади, он сел в сани и стал высыпать забившийся ему в сапоги снег.

– Ну, брат, Андреич, должно, заночуем, – сказал он.

– Вона. Чего же ночевать. Авось доедем, не в Пирогово, так хоть назад вернемся. – Вас[илий] Андр[еич] начинал сильно робеть, но усиленно храбрился.

– Куда же поедешь? – говорил Никита, высыпая снег из сапога, к[оторым] он похлопывал по грядке саней. – Тут овражище такое, что только слети туда, ни в жизнь не выберешься.

– Постой, я погляжу, – сказал Вас[илий] А[ндреич] и вылез из саней и пошел вдоль по оврагу. Везде было одинаково круто. – Поворачивай за мной, – крикнул он. Они поехали вдоль оврага, но не проехали они 100 шагов, как и тут оказался такой же овраг, загораживающий им путь.

– Это мы к реке заехали, – сказал Никита. – Да уже говорю, заночуем.

– Чего городишь, чего не знашь. Бери влево. – И Вас[илий] Андр[еич] пошел назад, но, удивительное дело, и тут оказался такой сугроб, в кот[ором] лошадь села по брюхо. Насилу они выворотили сани и остановились. Мухортый, очевидно понимая опасность, не переставая ржал. Ветер поднимал ему гриву, заворачивал хвост, подхватывал клочки соломы, кот[орая] выбивалась из саней, и мгновенно уносил их из виду. Оба молчали. Ник[ита] ждал. Вас[илий] Андр[еич] боялся ужасно, но не хотел признаться. Он измучился, ходя по снегу в тяжелой одежде, и решительно не знал, что делать. Он сел на снег за сани и, запахнувшись попытался закурить папироску. Несколько спичек он бросил; наконец одна осветила его бритое с усами лицо, орлиный нос и красные щеки. Папироска загорелась. Но сейчас же ее сорвало ветром, и она потухла.

– Держи лошадь, – сказал Никита, хотя держать теперь лошадь уже не нужно было. Она очевидно стала, – и пошел прочь от саней.

Он полазил по снегу и вернулся.

– Садись, надо в низок, да там и заночуем.

Вас[илий] Андр[еич] повиновался.

– Что же, там затишье, – сказал он.

Никита взял вожжи и ударил кнутом по мокрому задку Мухортого. Добрая лошадь из последних сил рванулась – прыжок, другой, третий и, наконец, выбралась на менее снежное место и спустилась в ложину.

– Ложись в сани, – сказал Никита и, подойдя к голове лошади, стал рассупонивать ее.

Мухорт[ый] нюхал Никиту и терся об него храпом.

– Ты чего же? – спросил Василий Андреич.

– Отпрягаю, чего же там! А ты в сани ложись. Его привяжем.

– Эх, наделали мы дела, – сказал Вас[илий] Андр[еич]. – Надо бы ночевать остаться.

– Надо, надо. Развязывай чересседельник, а то у меня пальцы зашлись, – говорил Ник[ита], дую в них.

Вас[илию] Андр[еичу], напротив, было жарко. И сам он был тучен и одежда была теплая.

Когда лошадь была распряжена, Никита подвел его к саням. Мухортый схватил порывисто пук соломы, но тотчас же бросил, и ветер унес ее.

– Ну, ладно, ложись в сани, а я за ними лягу, – сказал Никита.

– Эх, наделали дело. Ну, да авось бог милостив. – И В[асилий]

А[ндреич] полез в сани и скрючился там, но ему стало неловко. – Нет, уже, видно, ты ложись на низ, а у меня тулуп, я на тебя лягу.

Не успел он сказать этого, как Никита уже повыкидал солому, влез в сани и, скорчившись, лицом вниз, лежал в них головой под сиденьем. – Вас[илий] Андреич лег сверх него головой к задку, и ногами упершись в головашки.

– Ты солому–то себе на ноги положи, да дугой прикрой, – проговорил снизу голос Никиты, и после этого Никита не сказал уже ни одного слова и заснул.

Вас[илию] А[ндреич]у было сначала жарко, потом ему стало продувать левый бок, потом он весь озяб, хотел закутаться, но ему не хотелось двигаться. Снизу только ему было тепло. – На нем всё больше и больше насыпалось снегу, он чувствовал его особенно на воротнике. Мухорт[ый] нет–нет дергал из–под его ног солому и ржал. Ветер всё так же упорно, безостановочно свистел.

В голове его проходили воспоминания сделанных дел и заботы о тех, к[оторые] теперь делались. Нагульный скот был продан хорошо, только в долг. Как бы не затянул платежа. Землю снять опять надо во–время, мужики уж просили. Только бы эту рощу не упустить, а то деньги без дела останутся. Опять ржет. Старик небось заснул. Тоже торгуют, – вспомнил он про рассказы зятя. – Если уже вести дело, так вести порядком, два кабака снял, а теперь на Сергеевском сниму, тогда можно свой склад завести. Эх, левый бок продуло. Да куда денешься. Так–то, Егор сказывал, они ночь в поле проночевали. Так тех снегом засыпало. В снегу тепло. Тепло, да не больно. По 17 пудов в круг валухи вышли, значит, по 28 р. наживу. Оттого должно холодно, что высоко место, сдувает. Надо бы перелезть. Вишь тот чорт храпит подо мной. Известно, праздник, нельзя. И он вспомнил, как жена потребовала на расходы. Ну, да этих баб слушать. Эх, пробирает бок. Заснуть надо. И он забылся.

Долго ли, коротко было, он не знал, но вдруг он проснулся с ужасом в сердце. Сердце колотилось так, что он слышал его. Его рванул кто–то за тулуп. Он открыл глаза. Та же белая муть, только светлее и страшнее, снег свистит в лицо и режет его. И Мухортый стоит, дрожит всеми ногами и худой–худой, как одер, или это не он. Где я? Да и холодно же. Надо встать. А то плохо. Ну, Вася, вставать! Не робей. Он хотел сдвинуться, но ноги его не двигались. Да и не было ног. Хотел подняться на руки, и рук не было, точно он отлежал их. Хотел погнуть спину, и спины нет. – Он замер, не дышал и спрашивал себя: что это? Неужели? Он рванулся. Но не сдвинулся с места. А, так вот это что? – сказал он себе. – Смерть. За что? Матушки родимые, за что? Как же быков–то? И роща? И зачем быки? Зачем роща? Милые мои. Что же это? – Ему захотелось плакать. Он не заплакал, но ему было нежно, умильно. – Милые мои голубчики, что же это? И вдруг ему стало светло, радостно. Он поднялся над всем миром. Все эти быки, заботы показались так жалки, ничтожны. Он узнал себя, узнал в себе что–то такое высокое, чего он в 40 лет ни разу [не] чувствовал [в] себе. Слава богу, и мне тоже, и я не пропал, подумал он. И что–то совсем другое, такое, чего и назвать нельзя, сошло на него, и он вошел в

него, и кончилось старое, дурное, жалкое и началось новое, светлое, высокое и важное.

---

– Говорил я тебе, что не руби сбоку, а прежде затеши, а потом подрубишь, она и пойдет промеж берез, а теперь что – села на сучки, – говорил себе во сне Никита, – и давит. Вишь ты, всю поясницу раздавило, как льдом холодит. – Так в полусне чувствовал и думал Никита. – Да будет, – говорит он каким-то товарищам, к[оторые] навалили ему на спину холодное дерево. Но дерево всё холоднее давило его – и вдруг стукнуло что-то, и он проснулся. – Братцы, где ж я? – И он вдруг вспомнил всё. Холодное дерево, это б[ыл] хозяин, лежавший на нем.

– Андреич, а Андр[еич]! – заговорил он, вылезая и поднимая его спиной, но Андр[еич] не отзывался, и от него, от его ног, брюха, веяло холодом. Никита рванулся и встал, Андреич как чурбан отвалился на снег, кот[орый] нанесло выше саней. Было светло, снег мело всё так же, но сверху как будто было меньше, Мухорт[ый] по брюхо в снегу стоял всё так же, глаза выперли, и худая шея вытянулась и заостенела. Никита вылез из саней, огляделся и в 100 сажнях увидал, что чернеется, и пошел туда. Это была деревня.

#### Варианты рукописных редакций

##### № 1 (рук. № 3).

Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, коренастый, широкий, но, очевидно, от нужды и работы недоросший, и очень сильный. Он всю свою жизнь прожил в людях. Дома у него была только жена с ребятами, обрабатывавшая свой надел наймом и всегда нуждавшаяся, п[отому] ч[то] Никита часто запивал и пропивал всё, что мог. Когда Никита не пил, это был самый смирный, добрый, веселый, работающий и искусный на всякую работу человек. Когда он жил дома, что с ним случалось редко, жена помыкала им, как хотела, но зато когда он напивался, он наверстывал всё свое смирение, особенно перед женой. Уже несколько раз случалось, что он, напившись пьян дома, разламывал женины сундуки, доставал из них самые дорогие ее наряды и на обрубке, на кот[ором] рубят дрова, топором делал из этих нарядов крошку. Теперь уже он давно не жил дома, меняя разные места. Везде его любили, но везде он портил себе своим запоем. Только Вас[илий] Андр[еич] умел ладить с ним. Он не давал ему денег, а прямо отсылал жене. Когда же Никита загуливал, Вас[илий] Андр[еич] терпеливо сносил его буйства.

№ 2 (рук. № 9).

<Он всю свою жизнь прожил в людях. Жил он прежде до железной дороги в ямщиках, потом жил в кучерах и в дворниках.>

Никита был человек смирный, добродушный, ловкий на работу, [2] но не любивший тяжелой мужицкой работы и потому всю жизнь проживший в людях.

№ 3 (рук. № 4).

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж, – сказал он на сынишку. – Потому в тебе рассудку ни одной восьмой, – сердито обратился В[асилий] А[ндреич] к жене, вышедшей за ним и уговаривавшей его не ехать. – Одна твоя глупость. – Куражишься – перед кем? – говорила жена, выходя за ним и укутывая голову и почти всё лицо шерстяным платком. – Видишь, запурило как. [3]

Вас[илий] Андр[еич] был немного выпивши, красен и возбужден. [4] – Когда бы ты торговые антиресы могла понимать, тогда бы я разговор с тобой мог иметь совсем различный, – говорил он. – Хоть бы Никиту с собой взял; а то куда один пьяный поедешь, – вдруг совсем крикливым голосом сказала жена.

– Ну, опять грызутся, – подумал Никита. – Жить бы да жить, так нет же, всё лаются. Готово! Вас[илий] Анд[реич], – крикнул он хозяину.

– Еще кого не взять ли? – не отвечая Никите, продолжал В[асилий] А[ндреич], обращаясь к жене. – Что ж, я дороги не знаю.

– Веселее ехать, – сказала жена, – еще погода поднимется.

И действительно, в то время, как она говорила это, порыв ветра согнал снег с крыши и засыпал крыльцо.

– Дело к ночи, мне думаться не будет, – сказала она, заходя назад в сени.

– Чего думаться, моментально доеду, – отвечал В[асилий] А[ндреич], любивший употреблять и с своими хорошие слова. [5]

– Слышишь, Никита, хозяйка велит тебе в капаньонах ехать. Что скажешь?

– Да мне что, ехать так ехать, всё одно, – как всегда бойко, громко, как будто сердясь, буркнул Никита. Никита говорил всегда быстро–

быстро, точно слова подгоняли одно другое; главная же особенность его речи состояла в том, что, сказав то, что ему нужно, он как-то вдруг обрывал речь, точно запирал ключом.

№ 4 (рук. № 6).

– Куда еще, – закричала на сына вышедшая вслед за мужем закутанная с головой в платок на снос[ях] беременная жена В[асилия] А[ндреича].

– Пушай привыкает, так-то и я бывало. Как батинька едут, я и тут.

№ 5 (рук. № 5).

– Хоть бы, Вася, Микиту с собою взял, – сказала ему жена, очевидно находящаяся в полной покорности у своего мужа. – Как бы погода не поднялась, да и всё веселее будет, – сказала она, очевидно робея перед мужем и перекутывая платок с одной стороны на другую.

– Не извольте, мадам, беспокоиться, – проговорил В[асилий] А[ндреич], как он говорил всегда, когда слушал себя, громким, отчетливым голосом, с каким-то особенным напряжением губ, с которым говорят купеческие прикащики. – Что ж, я дороги не знаю?

№ 6 (рук. № 9).

<Ну вот и ладно. А ты смотри, хозяина-то приветь, как должно. – Ну, ты уж скажешь, – сказала смеясь кухарка, ласково ударяя его по спине, очевидно что-то особенное понявшая в этих словах. – А то как же, угости, как должно! – сказал Никита и, похлопывая рукавицами друг об друга, выбежал на улицу.>

– Ты бы, дядя Никита, ноги-то перебул бы, – сказала кухарка, – а то сапоги худые. Никита остановился, как бы вспомнив. Надо бы... Ну да сойдет и так. Недалече. И он пошел к двери.

№ 7 (рук. № 3).

Ветер дул им вбок со стороны Никиты, кот[орому] он запахивал длинный воротник азяма [1 неразобр.], закрывавший лицо, и продувал ребра и руку в том месте, где полушубок был прорван, и изредка покачивал санки, когда спины ездоков парусили против ветра. Дорога всё менее и менее становилась видна, всё менее и менее можно было знать, на дороге или без дороги бежит лошадь. Можно было знать это только п[отому], ч[то] виднелись вешки – дубовые сучки, на расстоянии сажень 10 один от другого воткнутые по сторонам дороги. Никита думал о том, как он в этот праздник удержался от вина и как два раза отказался. И ему было это и лестно и жалко. Больше было жалко. И чтобы не думать об этом, он закрыл глаза и стал дремать. Хозяин, возбужденный вином, был в самом веселом расположении духа. Он был собою еще более доволен, чем всегда. Он и умен и обходителен, и гости у него были все хорошие, и богат, и ловок, и лошадь у него хорошая, и шуба, и всё хорошо, и сам он хорош. А погоди, лес куплю, я ему очки вотру.

№ 8 (рук. № 9).

После встречи с попутчиками и перед первым въездом в деревню вставка рукой Толстого: В[асилий] А[ндреич] теперь молчал, а Никита не переставая весело разговаривал: то хвалил ум лошади, то вспоминал, как он ездил с другим хозяином на паре и пристяжная сбивала коренную.

№ 9 (рук. № 4).

Никита разделся, отряхнул кафтан и повесил его на печь и подошел к столу. Ему тоже предложили водки, но он сердито отказался и присел на лавке. Над столом висела ярко горевшая лампа, освещавшая стол со скатертью, самовар, чашки, водку и кирпичные стены и полати, с к[оторых] глядели ребята.

№ 10 (рук. № 4).

Хозяева стали просить чаем. Никита не отказался от чая. Он не

признавался в этом, но он сильно озяб в своем плохом одеянии и рад был согреться. Он, обкусывая со всех сторон один кусочек сахара, выпил 4 стакана чая и то последний стакан не перевернул, а положил боком. Но воды в самоваре уже не было, а хозяйка как будто не заметила боковое положение стакана.

№ 11 (рук. № 5).

Никита молчал и одобрительно кивал головой, выпивая 4-й стакан уже совсем жидкого чая. Он сильно прозяб и рад был согреться. В[асилий] А[ндреич] строго осуждал непочитание родителей и советовал подать земскому, – между разговором он не упускал случай пошутить с молодой, нарядной, румяной солдаткой, щелкавшей у печки семечки и смеявшейся с ним.

№ 12 (рук. № 4).

Вас[илий] Андр[еич] оделся, солдатка подержала ему шубу, и он ущипнул ее так, что она хлопнула его по спине, затянулся опять кушаком. Никита, разогревшись, надел опять свой отсыревший на печи халат, и они вышли в сени. Петруха в шубе и кафтане, стоя на коленках в розвальнях, выехал в отворенные ворота.

№ 13 (рук. 5).

В голове его бродили его обычные мысли: расчеты барышей от всех ведущихся им дел и опасение убытков от них; валухи кормились у него жмыхом, на них польза хорошая будет. Только надо не прозевать, вовремя отправить. Радужных пятюк очистится, и хорошо. Тоже с гречей надо не проморгать. Подвезли много, как раз соскочит цена. Ну, да я не промахнусь. Не тот мальчик. И он стал вспоминать все свои новые дела, в перемежку с воспоминаниями последнего дня праздника и надеждами на удачную выгодную покупку и соображениями о том, как и когда они с Ник[итой] выберутся из этой метели.

– Как бы не замерз мужик-то, одежонка плохая. Ответишь, пожалуй. Ну да разве я виноват. Дело божье. Да и выберемся же мы к утру. Только бы к обеду доехать. И он стал вспоминать то, что знал про лес, который он ехал покупать. Дуб на полозья пойдет. Срубка сама собой.

Да дров сажен 30 всё станет на десятину. Дам 10 т[ысяч] на 5 лет. Сейчас 3000 должен отдать. Только бы не перебили. И как мы сбились с поворота, и понять не могу. Вишь, дует как. Он приоткрыл глаза и увидал всё то же и опять закутался. Хороша бабенка, вспомнил он про солдатку, старикову сноху. Ночевать бы остаться. Ну да всё одно. Доедем и завтра. Только день лишний. И он вспомнил, что к 8-му получить за валухов с мясника. Жене отдаст. Только глупа она. Кабы теперь жениться, разве я такую бы взял, продолжал думать он. Что при родителях, какой наш дом был. Так себе, мужик богатый: рушка да постоянный дворишка. А я что в 15 лет сделал. Не то что уронил дом, а так поднял, что кто в округе гремит? Брехунов. Вишь ты, дует как. Занесет пожалуй, не выдержишь, подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, кот[орый] дул в передок, нагибая его, сек лубок его снегом. Да, гремит Брехунов. Земля, кабаки, мельница. И попав на эти любимые мысли, он стал перечислять все свои богатства, барыши и успехи и, главное, купеческое мастерство обмануть, а не быть обманутым.

№ 14 (рук. № 9).

Вас[илий] Андр[еич] между тем[6] всё еще закуривал папироску. Намерение Никиты ночевать в поле в снегу и, как он видел, необходимость покориться этому, пугало его. Но ему совестно было показать свой страх, и он старался подавить и отогнать его.[7]

№ 15 (рук. № 5).

Мухортый стоял всё так же задом к ветру. Веретье на нем заворотилось, всё было засыпано снегом. Головой он всё тряс, и на глазах у него ресницы заиндевели. В[асилий] А[ндреич] перегнулся к задку и заглянул в него. Никита сидел всё в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, кот[орой] он прикрывался, и ноги его были засыпаны снегом до колен. — Микит! Что, как? Никита что-то ответил, не шевелясь. — Замерз, я чай? говорю. — Ничего, — ответил Никита погромче. — Ты бы попоной-то еще бы покрывся. — Не надо, — проговорил Никита.

— Не надо, так не надо, — сказал себе В[асилий] А[ндреич].

№ 16 (рук. № 9).

– А не замерзнешь ты так, Микита? – сказал Вас[илий] Андр[еич].

– Кто ее знает, – може и замерзну. Всё равно помирать надо когда-нибудь. От бога не уйдешь, – отвечал Никита из-под дерюжки, которую он, как бабы покрываются платком, укутал себе голову и плечи.

В[асилию] А[ндреичу] было тепло, даже жарко. Он засунул руки в рукава, прислонился плечами и головой в угол саней к передку и закрыл глаза. Но спать ему не хотелось. Он невольно слушал непрерывающийся шум ветра, окружавший его и изредка раздражавшийся свистом на оглоблях, прерываемый только дыханием Мухортого, его жеванием и изредка стуком его колен о лубок саней. В голове В[асилия] А[ндреича] бродили расчеты, барыши, которых он ожидал от всех ведущихся им дел, в перемежку с воспоминаниями о последнем дне праздника, расчетами на удачную, выгодную покупку леса и соображениями о том, где он, какое это поле, какой овраг и какая тут ближняя деревня, как и когда ему удастся добраться до Горячкина. Ну, губернские не поедут, подумал он. А то как проморгаешь такое дело, беда. <Как бы не замерз мужик-то, одежонка плоха. Ответишь, пожалуй. Ну да ведь это кого другого замотают. А меня Мих[аил] Вас[ильич] оправит. Мих[аил] Вас[ильич] был становой, знакомый Вас[илия] Андр[еича], и нынче даже бывший у него в гостях и пивший его мадеру. И В[асилий] А[ндреич] опять вспомнил о себе, о своих достоинствах, и ему стало радостно.>

№ 17 (рук. № 3).

Дурак я, что послушался его. Ему помирать всё равно. Куда-нибудь да выехали бы. Должно, и стоим-то мы недалеко от деревни. Дай закурю. Опять он достал папироску, долго бился, зажег и в то самое время, как он затягивался, ему показалось, что он слышит лай. Так и есть. Должно, Молчановка. Овраг за Молчановкой. – Микит! – крикнул. Никита не шевелился. И вдруг ему пришла радостная мысль сесть верхом и доехать до деревни. Верхом лошадь не станет. – Микит! – опять крикнул он. – Чаго? – откликнулся Никита. – А я хочу верхом ехать. Тут собаки лают, слышно. – Что ж, с богом. Вас[илий] Андр[еич] встал, отвязал лошадь, закинул поводья и, вступив ногой в шлею, с трудом, два раза оборвавшись, влез на лошадь; седелка мешала ему сидеть, но он подмостил под себя полы шубы и поехал. Он выбрался опять из сугробов вверх. Опять та же муть белая, тот же ветер непрерывающийся. По его расчетам деревня была против ветра. Лошадь, хоть и с трудом, но шла иноходью туда, куда он ногами и концами поводьев посылал ее. Минут 5 он ехал так, как вдруг перед собой и недалеко, казалось, он услышал начавшийся слабо и всё усиливающийся и усиливавшийся протяжный, дошедший постепенно до высшей силы звук. Это был волк, и недалеко. Мух[ортый] насторожил уши и остановился. И В[асилию] А[ндреичу] стало вдруг холодно. Отобьешься, не найдешь деревни – хуже. Пропал я, подумал он и, повернув лошадь, пустил ее

назад, теперь одного желая – вернуться к саням. Следа своего уж почти не видно было. То казался след, то, казалось, не было, но лошадь охотно шла по ветру. Но вот и сугроб в ложине, и в ней следы еще видны. Сейчас будут сани. И точно, Мухортый спустился, и вот и оглобли и платок на них, и вот и сани, наполовину уже занесенные снегом. Вас[илий] Ан[дреич] слез с лошади, привязал ее.

– Микит! – Никита не шевелился. – Ох, замерзну я, – и опять на него нашел страх. Он хотел лечь на прежнее место, но оно уже было всё занесено. Смерть. За что? Матушки родимые, за что? Как же быков-то? И роща? И быки. Зачем быки? Зачем роща? Милые мои, что же это? Остался бы ночевать, ничего бы не было! Ему сперва захотелось плакать, а потом он вдруг рассердился. Он зашел под ветер от саней, сел на корточки и опять достал папироску и стал раскуривать ее. Но он не мог не только зажечь, не мог держать папироски, руки его дрожали, и губы и зубы щелкали. Он выронил спички, опустил руки и голову и замер. «Зачем всё это? Зачем я жил, зачем наживал? И чорт их побери и валухов и лес. На кой мне его ляд. Вот и деньги в бумажнике 700 р. серебра. На что их? Вот он крутит, засыпает. Издохнешь, как лошадь. Мужик что? А спит он или замерз. Должно, замерз. Одежка плохая. Тоже живой был. [8]

У меня одежда, а у него что, замерзнет. [9] Он встал, посмотрел в сани. Они были полны снегом. Спина и плечи Никиты уже сравнились, чуть был бугор, где была голова и плечо. – Микит! – крикнул Вас[илий] Анд[реич], сметая с него снег и шевеля его.

– Чаво? – Жив? – Пока жив, – отозвалось из-под кафтана. – Застыл только. Что же, не доехал?

– Нет. Вернулся.

– Ложись. А то хуже. И Никита стал ворочаться и жаться, чтобы дать ему место.

– О-ох! – простонал он. – Ноги зашлись! Ложись, ложись.

И вдруг В[асилию] А[ндреичу] стало жалко Никиту. Кабы не я, не пропал бы мужик. А смирный мужик. Как старался, и мальчонка моего ласкал. И не пил нынче. А веретьем не укрылся, лошадь пожалел. И Вас[илий] Анд[реич] опахнул с Никиты снег и полез в сани. – Ты не шевелись, я на тебя лягу, – сказал он, встал на отвод и лег на Никиту, покрыв его своим телом и шубой. – То-то хорошо, то-то гоже. Тепло, – проговорил из-под него Ник[ита] и быстро оборвал свою речь и тотчас же заснул. В[асилий] Анд[реич] слышал, как он захрапел под ним. И удивительное дело, Вас[илию] Анд[реичу] стало вдруг хорошо: в голове его мелькнула сноха старикова, подносявшая ему вино, оглобли, трясущиеся перед ним, дуга, Никита с его Миколкой, иконостас с Николаем угодником, хозяйка с гостями, всё это стало перемешиваться, и он тоже заснул. И видит он во сне, что он лежит на постели в доме и всё ждет того, кто должен зайти за ним. И спрашивает у жены: «Что же, не заходил?» Чей-то голос говорит: «Нет». А вот едет кто-то. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а, Миколавна, что же, не заходил?» «Нету». «Идет», – вдруг проговорил он себе. «Сейчас», – и

он проснулся. И что-то совсем новое, такое, чего и назвать нельзя, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось старое, дурное, жалкое, и началось новое, свежее, высокое и важное. Что же это такое? – Да это смерть. – А, так это вот что, – сказал он себе и удивился и обрадовался. Он проснулся совсем, хотел встать, пошевелить ногами, но ног не было, хотел подняться на руки, и рук не было, и спину согнуть нельзя было, и спины не было. – Должно, смерть пришла. Что же, я ведь не знал, как это, сказал он тому, в чьей власти он был. Я бы и рад теперь. Да я буду, буду. Всё хорошо. Слава богу, – сказал он и сам не знал, что с ним случилось: заснул он или умер.

№ 18 (рук. № 4).

<Вас[илий] А[ндреич] между тем тоже неподвижно лежал в санях и чувствовал, как снег насыпается на него. Ему было не холодно, но в душе у него была тревога. Ему было страшно. Чтобы успокоить себя и забыть о своем положении, он стал перебирать то, что обыкновенно больше всего занимало его. Стал он думать о своем достатке. Это была его любимая мысль. Начал он почти с ничего.>

Отец оставил ему только рушку и плохой дворишка постоялый. В 15 лет после родителя он не только не опустил дела, но так поднял, что у него вся округа в руках была, как говорили ему мужики: мы ведь в плену у тебя, В[асилий] А[ндреич]. И точно, у него 5 деревень было в плену. 200 десятин обрабатывали за долги да за водку, два кабака торговали, хлеба скупка, скотина, рощи, перечислял он свои богатства, вспоминал подробности приобретения их. Но удивительное дело, перечисление и воспоминание об этих делах, всегда прежде занимавшие его так, что он всё забывал и не видал, как проходило время, теперь не развлекали его. Мысль о том, что не выберешься отсюда и можешь замерзнуть совсем или отморозить руки или ноги, не переставая мучила его. Он вспомнил о той роще, за кот[орой] теперь ехал, и, странное дело, хоть бы и не было ее. И понесла меня нелегкая. На кой мне ее ляд. Затянешься еще с ней. Главное дело, жизнь дорога. Дороже всего. А вот что, главное, мучило его раскаяние, зачем он поехал из Гришкина. Ночевать бы остался. Солдатка, ух, баба хороша, подумал он. Но и этот предмет не развлек его. Напротив, как только он подумал о солдатке, еще скучнее и страшнее стало. – Стал он вспоминать свой расчет с зятем. Это было самое задушевное дело. Дело шло о 3 тысячах, заплаченных за лес, от кот[орого] зять отступился и требовал делить пополам. В этом деле оба они самым мошенническим образом хотели надуть друг друга, и оба считали себя правыми. Но Вас[илий] Андр[еич] одолел, подал в окружной суд, нанял адвоката, жил с ним в номерах в губернии и оттяпал от зятя его часть и взыскал с него еще 1200 рублей убытков. Это был всегдашний предмет радости и гордости для Вас[илия] Андр[еича]. Но, странное дело, теперь это уже не радовало его. Не радовало и то, как у него в гостях был исправник. И как почитал его.

Мысль об опасности разрушала всю радость всех успехов. – Замерзнешь тут, думал он. Так-то Егор Федорович заночевал, его как мороженого борова привезли... И напрасно послушал я Микиту, думал он, ехали бы теперь, всё бы выехали куда-нибудь. Напрасно послушал я его. Говорят, пьяным хуже. А я выпил. Вишь, Никита-то догадался, не пил, пожалуй и жив останется. А на что ему жить? Какая его жизнь. Я по крайности и жить могу в свое удовольствие. Есть чем жить. И поживу еще. Заснуть надо. Он забылся на время, но вдруг что-то дернуло его. Он очнулся и, отворотив воротник шубы, оглянулся. Та же белая муть, только светлее стало и оттого страшнее. Была белая непроглядная темнота. Светает, подумал он и обрадовался, – до утра недолго. Видно, я спал. Но тотчас же он вспомнил, вспомнил, что это месяц взошел, и, стало быть, было не более 8-го часа. Мухортый стоял всё так же. Веретье на нем заворотилось, он был весь засыпан снегом, и на глазах ресницы заиндевели. Очевидно, лошадь боялась не меньше его, и страх ее сообщился В[асилию] А[ндреичу]. Под санями, засыпанная снегом, не шевелилась кучка, под которой лежал Никита. – Что станешь делать. Замерзнешь. Положим, шубы теплы. Да ведь ночь-то велика. А мороз-то градусов 15, я чай. Ах, ночевать бы. Самоварчик еще поставили, водки бы им купил. Баба хороша. И он вспомнил, как жена его не пускала. Не пускала она больше из ревности. А лучше бы было, кабы послушался. Как она жить-то с сиротами останется. Да нет, поживем еще. Авось бог даст. И он опять лег, заворачивая под себя все уголки шубы, чтобы нигде не продувало, и старался заснуть, но сколько ни старался, он не мог заснуть. И опять он начал считать барыши, капиталы, хвастаться перед собой, вспоминать разврат, но ни то, ни другое, ни третье не занимало его. Покурить надо, подумал он и опять вскочил, оглядываясь, и опять та же светлая, снежная мгла, тот же дрожащий и испуганный Мухортый, весь в снегу, и тот же страх, и досада, и раскаяние, зачем поехал, зачем погубил себя. Он достал папироску, лег брюхом вниз, закрыв лапами от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другою. Наконец, он ухитрился закурить. Это была радость. Казалось, всё разъяснилось. Но продолжалось это успокоение недолго, папироску выкурил больше ветер, чем он. И он опять лег, укутался, и опять нашел страх. Так было несколько раз. И кругом было всё то же. Тот же дрожащий Мух[ортый], тот же под санями неподвижный, чистый снежный бугор, где лежал Ник[ита], та же белая муть. Ему казалось, что конца нет этой ночи. Иногда ему казалось, что петухи поют, что собаки лают. Но когда пристальнее вслушивался, – только ветер свистел по оглоблям, трепал платком, и Мух[ортый] переступал с ноги на ногу. Раз он совсем было заснул. Вдруг его разбудил какой-то страшно новый приятный звук и утешительный запах. Он вскочил. Это Мухортый стоял, вытянув задние ноги, и мочился.

Он опять вскочил. Еще было светлее, хотя буря была та же, и мороз, казалось, усилился. Должно, близко к утру, подумал он. Дай, посмотрю на часы. Озябнешь раскутываться. Да всё узнать бы. И он стал полегоньку распускать кушак и, засовывая руку, расстегивать полушубок и доставать часы. Насилу, насилу вытащил он свои серебряные часы. Опять лег ничком и стал зажигать спички. Одна за другой они обшмурыгивались об стальную спичечницу и не зажигались. Он подsunул циферблат и глазам своим не верил. Было всего 10 минут 2-го. Еще больше 7 часов ночи. Ох, плохо, – подумал он и, кое-как

сунув часы, запахнулся. Спать надо, так хуже, подумал он и решил лечь и не шевелиться. Долго ли, коротко ли он лежал так, он не знал. Казалось ему, что он заснул, как вдруг кто-то рванул его за спину. Он вскочил. Это Мухортый дернул из-под него солому и, держа ее в зубах, жевал. Где я? Да, замерзаю в поле, как есть замерзаю. Он озяб и дрожал. Матушка, царица небесная, Николай угодник. Всё сделаю, начал он молиться.

И он приподнялся на локоть и стал креститься. Рублевую свечку поставлю, только бы вызволил, думал он. Да что рублевую. Могу серебряный оклад сделать. Он говорил это, но чувствовал вперед, что если он спасется, он не сделает этого, не сдержит слова, и потому не стоит молиться. Опять он достал папироску, но спички уже все стерлись и он в отчаянии бросил папиросочницу. А чорт тебя, проклятый. Провались ты. Он вдруг разозлился на спички, на Мухортого, к[оторый] хотел потереться об него, на Никиту, к[оторый] не шевелился, и, главное, на себя. Он разозлился и был рад, что он разозлился, и поддерживал эту злобу, п[отому] ч[то] в этой злобе была энергия. Чего я заробел. А, дурак, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и ехать. Верхом лошадь не станет.

– Микит! – крикнул он.

– Чаго, – откликнулся Никита.

– А я хочу верхом ехать. Тут собаки лают, слышно.

– Что ж, с богом, – отвечал Никита.

– Подсоби, – говорит.

Никита долго мялся, наконец встал, дрожа всем телом и хромая, подсобил Василию Андр[еичу] и сам зашатался.

– Эх напрасно, хозяин. Лежал бы.

– Тебя послушал, чуть не замерз. Чего же стоять-то. И Вас[илий] Андр[еич] тронул лошадь и скоро скрылся в белой светлой мгле.

Как только В[асилий] А[ндреич] отъехал, Никита поднял свою дерюжку, подошел к саням, вытряхнул из них снег, перелез в них и лег в солому, завернувшись кафтаном. Нога левая у него, он чуял, мерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро душа выйдет, подумал он и, закутавшись, заснул. Между тем В[асилий] А[ндреич] выбрался из сугробов оврага навверх и погнал лошадь. По его расчетам деревня была против ветра. Лошадь хотя и с трудом, но шла иноходью туда, куда он ногами и концами поводьев посылал ее. Ветер и снег, казалось, еще усилились и слепили ему глаза. Он нагнул голову, ничего не видел и только гнал лошадь, надеясь, что она вывезет его.

Минут пять он ехал так, как вдруг перед собой и недалеко, казалось, он услышал начавшийся слабо и всё усиливающийся и усиливающийся протяжный, дошедший постепенно до высшей силы и потом медленно ослабевавший звук. Это выл волк, и недалеко. Мухортый насторожил уши

и остановился. Мороз пробежал по спине В[асилия] А[ндреича]. Ох, кабы тут деревня, не выл бы волк. Не туда я еду, подумал он и повернул лошадь влево. Но ему всё казалось, что лошадь воротит вправо, и он всё поворачивал ее влево. И вдруг он под собой увидел след – лошадиный след. Это, очевидно, был его след, и они кружили на месте. Эх, не выеду к деревне. И на него вдруг нашел новый страх, которого он еще не испытывал. Он заторопился, стал гнать лошадь и задыхался.

– Что же я делаю, куда же я еду. Пропал я ни за что. И он уж забыл думать о деревне и желал теперь только одного – вернуться к саням, чтобы быть вместе с Никитой и не пропасть одному. Он пустил лошадь. Она куда-то везла его, но туда ли она шла, к саням или совсем прочь от них, В[асилий] А[ндреич] не знал[10]. И когда он думал, что она завезет его прочь, и он останется один без Никиты, на него находил ужас. Лошадь шла, шла, всё не спускаясь, и вдруг спотыкнулась и где-то завязла. В[асилий] А[ндреич] соскочил с нее и тоже завяз в сугробе. Лошадь выбралась, но он остался сзади. Вот когда пропал, подумал он. И лошадь уйдет. Он из всех сил рванулся за лошадью, но она сама ждала его. Влезть он уже не мог и пошел за лошадью, держась ей за гриву.[11] Но вот и сугроб в ложине и в ней следы еще видны. Сейчас будут сани. И точно, Мухортый спустился, и вот и оглобли и платок треплется на них, а вот <и Никита> и наполовину уже занесенные снегом сани. В[асилий] А[ндреич] обрадовался, точно он домой приехал и вся опасность миновала. Микит, – закричал он, – Микит. Но Никита не шевелился. – Микита, где ты? Под отводом его не было. И опять он ужаснулся и усумнился, не во сне ли всё это, не сон ли это, от которого можно проснуться. Микит, – заорал он диким голосом. И губы его дрожали, и зубы щелкали. И вдруг к радости его в санях зашевелилось и поднялась сначала спина, потом голова Никиты.

– Чаго? – проговорил он слабым голосом.

– Пропал было я, Микитушка, – сказал он. – А ты жив?

– Пока жив, – отозвалось из-под кафтана. – Застыл крепко только. Должно, конец мой пришел. Прости, Христа ради. – И Никита стал ворочаться, очевидно желая встать и дать место хозяину.

Ох, погубил я человека, подумал В[асилий] А[ндреич]. И ему вдруг стало жалко Никиту. И Вас[илий] Андр[еич] опахнул с Никиты снег и полез в сани.

– Ты не шевелись, я на тебя лягу, – сказал он. И В[асилий] А[ндреич] встал на отвод и лег на Никиту, покрыв его своим телом и шубой.

– Что, теплее так, – сказал он.

– Ровно на печи, – проговорил из-под него Никита и быстро оборвал свою речь и тотчас заснул. В[асилий] А[ндреич] прислушался к тому, как Никита дышал под ним, и радовался тому, что он согревается. О себе он перестал думать, и ему стало спокойно и хорошо. И он не успел опомниться, как тоже заснул. И видит он во сне, что он лежит на постели в доме и всё ждет того, кто должен зайти за ним. И

спрашивает у жены: – Что же, не заходил? Чей-то голос говорит: – Нет. А вот едет кто-то. Должно, он. Нет, мимо. Миколавна, а Миколавна. Что же, не заходил? – Нету. – И всё он лежит на полати и ждет. Всё тихо. И вдруг узнает В[асилий] А[ндреич], что он пришел. Иду! – прокричал В[асилий] А[ндреич] так громко, что Никита слышал его крик. – Иду, – весело прокричал В[асилий] А[ндреич] и проснулся. И что-то совсем новое, такое, чего он не знал во всю жизнь свою, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось всё старое, пустое, ненастоящее, и началось новое, хорошее и настоящее.

– А, так это вот что, – сказал он себе, понимая, что это смерть и что он умирает. И он удивился тому, как это просто и нестрашно. – А я, дурак, боялся ее, – сказал он себе. Стал он вспоминать про рошу, про дело с зятем, про валухов, и ему жалко и смешно стало; и вспомнил он про Ник[иту], как он сказал ему: прости Христа ради, и как сказал: ровно на печи – и ему радостно стало. – Что же, я ведь не знал этого, – сказал он. – Я бы и рад теперь. Да я теперь буду, – сказал он и сам не знал, что с ним случилось: заснул он или умер.

– Погоди гнать, дай я подстроюсь. А то что же, всё одно не возьмут, – говорил себе Никита, вывозивший во сне заевший на переезде в болоте воз с мукою. И он подлез под воз и стал поднимать его, расправляя спину, но удивительное дело: воз не двигался, а прилип ему к спине и он не мог ни поднять воз, ни уйти из-под него. – Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. Да будет, – говорил он кому-то, кто давил ему возом спину. Вынимай мешки. Но воз всё холоднее и холоднее давил его – и вдруг стукнуло что-то, и он проснулся и вспомнил всё.

Холодное дерево – это был хозяин, лежавший на нем. А стукнул – это Мухорт[ый] коленкой о сани.

– Андреич, а Андреич, – заговорил Ник[ита], подергивая спиной, но Андр[еич] не отзывался, и брюхо его и ноги были крепкие и холодные. – Помер, должно, подумал Никита. Тоже меня пожалел. Царство небесное. Должно, и мне скоро. Господи помилуй, проговорил он и почувствовал, что умирает.

Уже в обед, на другой день мужики откопали лопатой Вас[илия] Андр[еича] и Никиту в овраге, который обходит дорога, в 30 сажнях от нее и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней; но оглобли и платок на них были видны. Было светло, снег мел всё так же, но сверху было меньше. Мухортый по брюхо в снегу стоял, прижав голову к кадыку; глаза его заиндевели и выперли, и худая шея вытянулась и заостенела. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кожа да кости. В[асилий] А[ндреич] весь застыл и, как были у него расставлены ноги, так раскорячившись его и отвалили от Никиты. Никита же был жив и отморозил только обе ноги и левую руку. Когда Никиту разбудили, он огорчился сначала тем, что на том свете опять всё было то же, такие же люди, такие же лошади, сани, тот же снег. Он думал, что там будет совсем другое и лучше. А это опять всё то же. Ну что же делать. Так, видно, надо. Но когда он понял, что он жив, он скорее огорчился, чем обрадовался, особенно тогда, когда узнал, что едва ли он будет владеть рукою. Пролежал Ник[ита] в

больнице два месяца. Хотели ему отнять ногу, но он не дался, и она зажила. Калекой он остался, но все-таки работал и прожил еще 20 лет и только в нынешнем году помер в избе у жены, как должно, под святами и с зажженной восковой свечой в руках, и истинно радуясь тому, что он умирает и избавляет своей смертью и старуху и малого от обузы и греха. Лучше или хуже ему там стало, разочаровался ли он, когда проснулся там, или нашел то самое, чего он ждал, мы все скоро узнаем.

Л. Т.

№ 19 (рук. № 5).

На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше не только лежать, но и сидеть на месте. И чего я заробел. То-то дурак, что послушал мужика, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и марш, – вдруг пришло ему в голову. Верхом лошадь не станет. Ему, подумал он на Никиту, всё равно умирать. Какая его жизнь, ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить. Микит, – крикнул он. Никита долго не отвечал. – Чаго? – откликнулся наконец Никита. – А я хочу верхом ехать. – Куда ехать-то, – сказал Никита. – Куда-нибудь да выеду, чем тут-то сидеть. Ночи еще много. – Напрасно, – проговорил Никита, не изменяя своего положения. – Лежал бы, хуже. – Слушай вас, – проговорил В[асилий] А[ндреич]. – Что ж пропадать даром.

№ 20 (рук. № 6).

Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро душа выйдет, подумал он. Господи боже мой, батюшка, отец небесный, – проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, но обращение это к нему, к отцу, было нужно Никите и успокоило его. Он повалился в сани и, натянув опять себе на голову дерюжку, затих.

№ 21 (рук. № 9).

Никита ясно понимал, что ему в его рваном полушубке и халатишке с дерюжкой на голове не перетерпеть те 14 часов, к[оторые] оставались

до света. Да еще и выедешь ли и днем. Он уже теперь чувствовал, что нога левая отмораживается и чувствовал непреодолимую сонливость, к[оторая], он знал, была признаком замерзания. Но мысль о том, что он умрет здесь в этом месте, в эту ночь не представляла для него ничего ни особенно страшного, ни особенно неприятного. Это было только нечто новое.[12] Ничего страшного он не видел в этом, потому что, как он бывало смеялся людям, боявшимся упасть с высоты, что упадешь не кверху, а книзу, так он всегда и теперь говорил себе, что, умирая, он попадет не куда-нибудь в новое место к новому хозяину, а всё к тому же господу батюшке, под которым и здесь ходил. Упадешь не кверху, а книзу – всё к тому же господу батюшке царю небесному. Особенно неприятного же он не видел в смерти потому, что вся его жизнь здесь не представляла ничего такого, что бы ему жаль было покинуть. Правда, жутко было уходить из этой знакомой жизни в другую, неизвестную. Да что ж поделаешь, не откажешься. Грехи? подумал он, вспоминая свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, в особенности злобу на бондаря. Известно, грехи. Да что ж, разве я сам их на себя напустил. Таким, видно, меня бог сделал. Ну и грехи. Куда же денешься. И успокоившись рассуждением, он прикрыл осторожно дырку, сквозь которую дуло в голову, вжал еще более голову в плечи[13] и стал забываться и даже задремал. Окрик хозяина разбудил Никиту. И чего ворочается, думал он. Лежал бы да лежал. Шубы теплые. А что ворочаться, то хуже. Финоген да Митька, те разделись так-то да рядом легли, укрылись, вспомнил Никита. Так говорят, как тепло, вспомнил Никита и хотел сказать это В[асилию] А[ндреичу], но не хотелось ни шевелиться, ни говорить, и Никита ничего не сказал. Когда в другой раз хозяин разбудил его, объявив, что он хочет уехать верхом, Ник[ита], сделав большое усилие над собой, проговорил ему совет не ехать и сказал: хуже.[14] Это усилие разбудило его. Он вспомнил, что на Мухортом веретье, к[оторое] не нужно ему на ходу, а ему, Никите, было бы очень нужно. Он хотел сказать это и взять веретье укрыться им и лечь в сани, но его так разморило, так хотелось ему спать, что он не имел сил сказать этого и не имел сил встать. Но вдруг задок, на кот[орый] он упирался спиной, дернулся, что-то ударило в спину, посыпался сверху снег и упираться спиной уже не на что было. Этот толчок, происшедший от того, что сани откатнулись, когда В[асилий] А[ндреич] садился с них на лошадь, заставил Никиту очнуться. Он с трудом выпрямил ноги и, осыпая с себя снег и держась за сани, хромя обошел задок и раскрыл глаза. Всё та же белая муть была везде кругом. Впереди его в трех шагах еще виднелась спина В[асилия] А[ндреича] в его высокой шапке и спина и зад Мух[ортого] с развевавшимся в одну сторону по бокам его веретьем. Мучительный холод пронизал всё тело Никиты, когда он поднялся и вышел на ветер. Он сделал усилие над собой и закричал В[асилию] А[ндреичу]: «Веретье оставь», но В[асилий] А[ндреич] хоть и слышал, что тот прокричал, не поворачиваясь гнал лошадь туда, откуда он въехал в лошину, и скоро скрылся в снежной пыли. Никита вздохнул, мотнул головой и, не снимая с головы дерюжки, повалился в сани на место хозяина. Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле была слабость, а в душе умильность. – Должно, скоро душа выйдет, – подумал он. – Господи, батюшка, отец небесный, – проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, – но обращение это к нему, к отцу, к господу батюшке, было нужно Никите и успокоило его. Он стал терять сознание, сам не зная, засыпает он или

умирает, одинаково готовый на то, чтобы проснуться в этом мире и попрежнему жить в людях работником, служить людям, отдавать деньги жене и бондарю, бороться с грехом, с водкой, бороться и падать, или проснуться где-то там так же, как он проснулся к жизни этого мира, не зная, когда, в люльке, у груди матери, или когда в первый раз свалился с лавки и ревел на руках у сестры и няньки Аксютки.

№ 22 (рук. № 5).

– Что же я делаю, куда же я еду? – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошаадь. Проезжал он по обледеневшим сдутым зеленым, по высокому косматившемуся жнивью, по глубокому мелкому снегу, ехал против ветра и по ветру. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и прикасалось с седелкой, зябло и болело, и чем больше он зяб, тем отчаяннее он гнал лошаадь.

№ 23 (рук. № 6).

Особенно страшно ему стало, когда он проезжал по меже какого-то поля, поросшего высоким бурьяном, торчавшим из-под снега и отчаянно мотавшимся, стремившимся куда-то и только свистевшим на одном и том же месте. Грозно мотавшийся бурьян этот почему-то навел на него самый большой страх.

№ 24 (рук. № 8).

Он увидел перед собой уж не однообразие, а что-то чернеющееся. Он поехал на это черное с радостной надеждой увидеть что-нибудь живое, спасительное, но черное это была межа, поросшая высоким бурьяном, торчащим из-под снега и отчаянно трепавшимся по ветру, который как-то особенно зловеще свистел через него.

№ 25 (рук. № 8).

Он пустил поводья и сжался, закрывая лапами коченевшие ляжки. Пропал я, думал он. За что? Лошадь шла медленной иноходью и как будто что-то соображала, поднимая то одно, то другое ухо. Но В[асилий] А[ндреич] ничего не видел этого. Он весь был поглощен ужасом ожидающей его, как ему казалось, неминуемой смерти. И смерть ему представлялась ужасной.

№ 26 (рук. № 5).

<Тот ужас смерти, к[оторый] он испытывал сейчас, он перенес на Никиту, и ему так жалко стало этого доброго, покорного мужика, что он забыл о себе только думал о нем.> В санях зашевелилось.—Ну, слава тебе, господи, — проговорил В[асилий] А[ндреич]. — Что, жив? Застыл, я чай. — Помираю я, Андреич, — заговорил слабо Никита. — Зажитое бабе отдай, — прибавил он, и В[асилию] А[ндреичу] показалось, что Ник[ита] заплакал. — Помирает, сердечный, — подумал он. В[асилий] А[ндреич] встал на отвод, расправил шубу и лег на Никиту, покрыв его своим телом.

№ 27 (рук. № 9).

<В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за передок. Слава тебе, господи, говорил он себе. Хоть не один. Теперь шабаш. Лягу, укроюсь, не двинуся. Но радость его продолжалась недолго. Всё равно и тут замерзнешь, подумал он, вспоминая всё то, что он испытал в эту ночь. И тут только, заметив жесткое тело в санях, вспомнил о Никите и догадался о том, что он перелез в сани.

Первое чувство В[асилия] А[ндреича] была досада, что место его занято, и он хотел тревожить Никиту. Но потом, вспомнив тот страх, к[оторый] он только что пережил, он задумался. Не уляжемся вдвоем. — Никита, — крикнул он. Но Никита не откликнулся. — Никита, — повторил В[асилий] А[ндреич], подходя к задку саней и заглядывая на то место, где он оставил Никиту. Там был только снег и не было и следа Никиты. — Погубил я человека, подумал Вас[илий] Андр[еич]. В санях зашевелилось. — А я было пропал, брат, — сказал В[асилий] А[ндреич]. — Что ты, как? Застыл, я чай.

Никита заворочался, приподнял голову и с трудом выговорил: — Помираю я, Андреич, зажитое бабе отдай. Конец мой пришел. Прости Христа ради. — Погубил я человека. Он лошадь пожалел, а я что сделал, подумал В[асилий] А[ндреич] и, ничего не говоря, встал на отвод, расправил шубу и лег на Никиту, покрыв его своим телом.>

В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за передок. Слава тебе, господи, говорил он себе. Хоть не один.

– Микит, – крикнул он в ту же минуту, вспоминая, как Никита, прикрытый дерюжкой, кричал ему что-то. И ему совестно стало. И тут, взглянув в сани, В[асилий] А[ндреич] увидел, что в середине их что-то бугрилось и наполняло их. Ведь это он. Жив ли еще. И Вас[илий] Андр[еич] опять позвал Никиту, потрогивая его рукой. Он прислушался. Никита дышал. Никита, откликнись. Вдруг Никитина голова, разворачивая снег, поднялась у передка из саней. Дерюжка висела на шапке, шапка сбилась наперед. Никита поднялся на одном локте и странно нагнулся, махая перед своим лицом свободной рукой, точно он обмахивал мух, заговорил, шамкая и не выговаривая согласных: Помираю я, Андреич. Конец пришел. Зажитое старухе не давай, малому отдай. Ну да бог с ней. Прости Христа аи, – пробурчал он, спустил локоть, уронил голову и повалился в расшевеленный снег.

№ 28 (рук. № 9).

В[асилий] А[ндреич] стоял, смотрел, слушал и чуял, как нижняя скула его плясала: вавававава, и не мог удержать ее. погоди, я на тебя лягу, сказал он себе<sup>[15]</sup> и обеими руками выгреб снег из саней, расправил шубу и лег животом на Никиту, покрывая его своим телом.

№ 29 (рук. № 5).

Довольно долго пролежал он так молча, стараясь успокоиться и вытирая с воротника иней. – Что, Никита, теплее так, – сказал он наконец. – То же, – отвечал Никита. – Согреться стал. – Пропал было я, Микита, – сказал В[асилий] А[ндреич], – совсем отбилсь было от саней. И я бы замерз, да и ты бы пропал. А теперь отогреться, бог даст. Что, как? – Ровно на печи, – сказал Никита и вслед за этим стал дышать так, как дышат спящие люди.

№ 30 (рук. № 10).

В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за них, тяжело и быстро дыша и отыскивая глазами Никиту. На прежнем месте Никиты не было, и В[асилий] А[ндреич] было испугался, думая, что он также

ушел, но тотчас же увидел, что в санях лежало что-то занесенное уже снегом, и догадался, что это б[ыл] Никита. – Никита, жив? Никита пробурчал что-то непонятное. Ну, слава богу, подумал В[асилий] А[ндреич], жив. Страх его совершенно прошел теперь, и если он боялся теперь чего, то только этого самого страха, того ужасного состояния страха, к[оторое] он испытал на лошади и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. – Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было не думать о себе, надо было думать о чем-нибудь другом. Надо было делать что-нибудь. Первое дело, к[оторое] представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Он пошел и сделал это. Но выпростав ногу, он заметил, что веретье, к[оторым] была покрыта лошадь, сбилось совсем на одну сторону. Он поправил и это. И вспомнил, что Никита кричал ему что-то о веретье, когда он отъезжал. Он живо вспомнил про Никиту и решил покрыть и отогреть его. Он привязал лошадь на старое место и подошел к саням, раздумывая о том, как ему разместиться с Никитой. Вдвоем ни за что не усядешься, думал он. Ну я хоть на корточках сяду, прикрою его шубой, думал В[асилий] А[ндреич]. – Подвинься, дай место, я сяду. Тебе теплее будет, – сказал он, выгребая снег из саней и толкая Ник[иту]. – Подвинься – говорю. В санях зашевелилось, Никита с большим усилием оперся на локоть и поднял голову. С нахлобученной шапки и с дерюжки сыпался развороченный снег. – Помираю я, Андреич. Конец пришел..., – проговорил Никита, с трудом выговаривая согласные, и остановился отдыхая и как-то странно, точно обмахивая мух, замахал рукой перед носом. – Прости Христа аи, – сказал он, – конец мой, – спустил локоть, уронил голову и повалился в расшевеленный снег.

– погоди ж ты, я на тебя лягу, я тебя угрею, – сказал себе В[асилий] А[ндреич] и обеими руками выгреб снег из саней, расправил шубу и лег животом на Никиту, покрывая его своим телом и подтыкая с обеих сторон полы шубы под Никиту. Страх он теперь не испытывал никакого. Он думал только о том, как бы отогреть Никиту.

– Ну что, Никита, потеплее стало? – сказал он, полежав так несколько времени.

Никита вздохнул.

– Пропал было я, Микита, – сказал В[асилий] А[ндреич], – совсем отбилась было от саней. И я бы замерз, и ты бы пропал. А теперь отогреемся, бог даст. Потому если... Но дальше В[асилий] А[ндреич] не мог говорить, п[отому] ч[то] совершенно неожиданно нижняя челюсть его быстро запрыгала, он выговорил только: вававава! и в то же время глаза его наполнились слезами. Довольно долго он глотал слезы и вытирал глаза о мех шубы. Наконец успокоился. Но только что спросил опять Никиту, что он? как опять задрожали скулы и глаза наполнились слезами и В[асилий] А[ндреич] замолк. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху в спине и вороте от шубы, но ноги и руки его зябли, но он не замечал этого. Он перестал прислушиваться к метели, а слушал только под собой дыхание Никиты и не переставая радовался тому, что он согревается под ним.

№ 31 (рук. № 14).

Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. И потому, как только он немного отдышался, Василий Андреич подошел к Мухортому, выпростал ему ногу, оправил на нем веретье и сбившуюся шлею и привязал опять к старому месту. Сделав это, Василий Андреич вынул дугу, отряхнул ее и, поставив ее выше, подтянул чресседельней оглобли, достал из саней соломы, подложил ее Мухортому и, став задом к ветру, распустил шубу. Потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов овес и гречу, затынулся кушаком, приготавливаясь к деятельности. Но делать больше нечего было. Надо было устраиваться в санях и дожидаться света. Но как быть с Никитой? Вдвоем не то что лечь, и не усядешься в маленьких санках. И он решил поднять Никиту и стал будить его.

– Микит! А Микит! – крикнул он, выгребая снег из саней и толкая Никиту. Поднимись–ка. Поднимись говорю. Никита не откликнулся и не шевелился. Василий Андреич решил приподнять его и для этого привычным, бодрым движением засучил рукава шубы. Но только что он хотел взяться за Никиту, как в санях зашевелилось, и из–под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием он приподнялся и оперся на локоть. С нахлобученной шапки и с дерюжки сыпался развороченный снег, лицо его было опущено книзу. Он бормотал что–то, повторяя одно и то же, и как–то странно, точно отгоняя мух, махал перед носом рукой.

– Чего ты? Чего говоришь? – переспросил Василий Андреич, нагибаясь к нему. – Помираю я, прости Христа ради, – выговорил яснее Никита. – Зажитое – малому... Но Василий Андреич не дал ему говорить дальше. С той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он толкнул Никиту назад в сани и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и с саней. – Будет разговаривать, – сказал он своим внушительным голосом на слова Никиты, повалившегося назад в снег и что–то неясно бурчавшего. Будет разговаривать, и, выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, ступив на отвод, лег животом на Никиту, покрывая его своим телом. Он долго лежал так, заправляя полы шубы руками между лубком саней и Никитой и коленами ног придерживая ее подол. Он лежал так ничком, упираясь головой о лубок передка, и теперь не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а

№ 32 (рук. № 10).

Так пролежал он довольно долго, ничего не видя и не слыша, кроме

слабых движений [Никиты] и его дыхания, и наконец[16] и усталость, и выпитое вино подействовали на него, и он заснул тихим и спокойным сном. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и дуги, трясущихся перед глазами, хождение Никиты, отыскивавшего дорогу, блуждания верхом; потом стали перемешиваться воспоминания о празднике, жене, станом, свечном ящике, но все эти разнообразные впечатления связывались чем-то одним, приятным, успокоительным, соединенным с ощущением разгоряченных ног и осязания животом туловища Никиты. Только к утру спокойствие и радость этого сна стали нарушаться. Видит он во [сне], что стоит он будто у свечного ящика

№ 33 (рук. № 11).

И В[асилий] А[ндреич] просыпается и вспоминает всё: где он, и что с ним было. Слышит он тот же свист ветра и шорох снега, видит то же белое море снега, занесенную голову Мухортого и его подведенные бока, слышит щелканье платка и вспоминает он про Никиту, что он лежит под ним и что он угрелся, и ему кажется, что он Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите, что если останется жив Никита, то и он будет жить. И радостно слышит он под собою его – свое дыхание. – Жив Никита, значит я жив. – И что-то совсем новое, такое, чего он не знал во всю жизнь свою, сошло на него, и он узнал то, что было в нем, и в чем была его жизнь. – А, так это вот что! – сказал он себе, понимая, что это смерть, и что он умирает. – А я, дурак, боялся ее, – сказал он себе. – И он вспоминает свою жизнь и в чем она была, вспоминает про рошу, про дело с зятем, про валухов, и ему не верится, чтобы были люди, которые могли жить этак. И вспоминает он Никиту, как он сказал ему: прости Христа аи, т. е. прости Христа ради, и как от этих слов ёкнуло в нем сердце и загорелась жизнь. – Что же, я ведь не знал этого, – думал он. – Я бы и рад теперь, да поздно! Нет, не поздно, напротив, рано еще. Только рассветает, и вдруг стало темно и всё исчезло.

Комментарии А. С. Петровского

#### ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

П. И. Бирюков пишет в своей «Биографии Льва Николаевича Толстого» (т. III, Госиздат, М. 1922, стр. 206), что мысль написать рассказ «Хозяин и работник» пришла Толстому зимой 1892/93 г., когда он, находясь в Бегичевке Данковского уезда Рязанской губ., руководил

организацией помощи голодающим крестьянам. На эту мысль его навели необычайно сильные в ту зиму метели и вызванные ими рассказы о замерзших и занесенных снегом путниках. Бирюков ничем не подтверждает своих слов, но их нельзя оставить без внимания, так как он жил тогда в Бегичевке и мог слышать от Толстого о замысле этого рассказа. Однажды Толстому самому пришлось заблудиться во время метели. Владелица Бегичевки Е. И. Раевская так описывает этот случай в своих воспоминаниях: «Узнаем мы однажды, что он уехал в метель и еще не возвращался. Мы ужасно испугались и послали его разыскивать нашего Алексея Конова: будучи охотником–псарем, он знаком с каждым оврачком, каждым кустиком и к тому– отчаянная голова, готов и в огонь и в воду. Алексей отправился верхом и нашел графа, идущего пешком по снежному полю, а лошадь от него ушла. Алексей ее поймал, усадил графа в сани и привез к нам». [17] Запись эта относится к 15 февраля 1892 г.

Толстой упоминает впервые о рассказе в дневниковой записи от 6 сентября 1894 г.: «Утром в постели... продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике». [18] Повидимому, тогда же был набросан и первый, очень беглый, конспект рассказа:

«1) Вас. Андр., уезжая, приказывает об овсе и рушке.

2) До лесу доезжают благополучно. Затишье.

3) Снимает тулуп, ходит, ложится вниз.

4) Лежит, Мекешка лежит не шевелится.

В. А. ходит. Чего ходить–то? Нечего ходить. Ложись. Друг от дружки теплее.

Ходит, суетится, потеет, теряется, приходит и валится на него сверху, и тотчас же засыпает. Просыпается холодно. Но лень встать. Мечты» (см. ниже, стр. 378, рук. № 1).

В тот же день Толстой приступил к осуществлению замысла. 7 сентября он пишет Софье Андреевне: «У нас в одиночестве жизнь теснее. Вчера я стал было записывать свой рассказ, пока вы уехали, думал нынче вечером продолжать, но нынче не в том духе». [19] А 14 сентября Толстой записывает в Дневнике: «Вечером сел писать и написал рассказ о метели. Нехорошо». [20] В тот же день Татьяна Львовна сообщила матери в Москву: «Вчера вечером папа только к 12 часам пришел наверх и принес с собой целый рассказ, который он написал. Будем сегодня его переписывать» (ГМТ).

Таким образом, совершенно точно определяется дата начала (6 сентября 1894 г.) и конца (13 сентября 1894 г.) первой черновой редакции «Хозяина и работника». Судя по цвету чернил, она была написана в два приема: вероятно, 6 и 13 сентября.

Закончив первую редакцию, Толстой на время прекращает работу над «Хозяином и работником». 18 сентября он пишет жене: «Теперь я написал начерно очень мало интересный рассказ, но он меня на время

занял. Поправлять же его, теперь по крайней мере, нет охоты». [21]

Возвращается Толстой к работе над рассказом только через три месяца (дневниковая запись 25 декабря 1894 г.). С этого момента начинается интенсивная правка рассказа, продолжавшаяся до 1 января 1895 г. – дня отъезда Толстого с дочерью Татьяной Львовной в имение Олсуфьевых Никольское–Горушки. Ход работы над рассказом за эти несколько дней прослеживается по рукописям № 3 (датирована Толстым: «27 декабря 1894 г. »), 4, 5 (датированы М. Л. Толстой: «29 д. 1894»), 6, 7 и 8.

Но Толстой все еще не был удовлетворен рассказом. 31 декабря он записывает в Дневнике: «Прошло 5 дней. Всё это время писал рассказ Хозяин и работник. Не знаю, хорошо ли. Довольно ничтожно».

[22] Столь же критически оценивает он рассказ и в дневниковых записях 3 и 6 января 1895 г.: «Поехали, как предполагалось 1-го. – Я до последнего часа работал над Хозяином и работником. Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо». «Третьего дня вечером читал свой рассказ. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать».

[23] Гостя у Олсуфьевых, Толстой усиленно занимался отделкой рассказа. «Папа бодр и здоров, – писала Т. Л. Толстая матери 12 января, – кончает свою повесть».

14 января рукопись была послана Н. Н. Страхову для передачи в «Северный вестник». В сопроводительном письме Толстой писал Страхову: «Письмо это вам перешлет или передаст очень милая девушка, баронесса Майндорф, с кот[орой] я провел несколько дней у Олсуфьевых, у кот[орых] я жил и живу еще теперь. Я ей передал рукопись рассказа для Сев[ерного] вест[ника]. Редакторы так жадны, что я не хочу давать им прямо в руки. А то они напечатают, не прислав мне корректур и без необходимых поправок. Поэтому я позволил себе послать этот рассказ вам и через вас. Во-1-х, вы просмотрите его и скажете, можно ли печатать. Не стыдно ли? Я так давно не писал ничего художественного, что, право, не знаю, что вышло. Писал я с большим удовольствием, но что вышло, не знаю. Если вы скажете, что плохо, я несколько не обижусь. Вот это-то и может быть вам неприятно. Если же вы найдете годным рассказ, то уже, пожалуйста, вы подпишите корректуру к печати... Таня [Т. Л. Толстая] говорит, что из письма не видно, что я прошу прислать мне корректуры. Я очень прошу, непременно прошу прислать мне в Москву». [24]

В тот же день Толстой писал редактору «Северного вестника» Л. Я. Гуревич: «Посылая вам, дорогая Любовь Яковлевна, рассказ, посылаю его через Н. Н. Страхова, к[оторому] поручаю корректировать его и

подписать к печати. Очень рад буду, если он поспеет к февр[альской] книжке, но если нет – не взыщите... После того как я просмотрю корректуры в Москве, непременно пришлите в Москву». [25]

Никаких сведений об исправлениях, сделанных Н. Н. Страховым, нет. Корректуры рассказа не сохранились, кроме двух гранок, на которых, однако, нет поправок, сделанных рукой Страхова. Повидимому, его роль в этом деле ограничилась только чисто технической правкой: орфографией, знаками препинания и т. п.

Толстой трижды правил корректуры рассказа. 27–28 января, отправляя первую исправленную корректуру, он писал Н. Н. Страхову: «Посылаю корректуры очень измаранные. Пожалуйста, не дайте напечатать в безобразном виде. Надо мне после вас пересмотреть еще раз. Я и пишу Гуревич, чтобы мне прислали еще. Если вы будете добры просмотреть еще разик и поправить, что там неладно, то я очень буду благодарен. Мне не нравится этот рассказ. И в вашем отзыве слышу неодобрение. Пожалуйста напишите порезче всё, что вы скажете об этом рассказе, говоря не со мною. Мне интересно знать: ослабела ли моя способность, или нет. И если да, то это меня так же мало огорчит и удивит, как и то, что я не могу бегать так же, как 40 лет тому назад». [26]

Недовольство рассказом повлекло и усиленную правку, о которой красноречиво свидетельствуют сохранившиеся гранки. 14 февраля Толстой писал сотруднику «Северного вестника» А. Л. Волынскому, отправляя вторую исправленную корректуру: «Посылаю вам, Аким Львович, исправленную корректуру. Извините, что так много перемарал. Пожалуйста, пришлите мне еще раз и, лучше всего, в сверстанном виде. Мне нужно теперь исправить только вкравшиеся неточности и стилистические ошибки. Но и это очень нужно, и потому очень прошу поскорее прислать». [27]

Около 23 февраля была закончена последняя (третья) правка Толстым корректур «Хозяина и работника». «Посылаю вам корректуры, – писал он 22–23 февраля А. Л. Волынскому. – Мне больше смотреть их не нужно, но желательно, чтобы внесенные поправки не были перевераны». [28]

5 марта вышла в свет мартовская книжка «Северного вестника», в которой на стр. 137–175 был напечатан «Хозяин и работник». Одновременно рассказ печатался в Москве в издательстве «Посредник» и в 14 томе издававшихся С. А. Толстой «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».

«5 марта 1895 года, – пишет в своих воспоминаниях Е. И. Раевская, – одновременно с «Северным вестником» этот рассказ выпущен был в свет фирмой «Посредник» в двух изданиях (в 15 и 20 копеек) и разошелся в первые четыре дня в количестве 15 000 экземпляров. Кроме того, графиней Софьей Андреевной Толстой издан 14 том полного собрания соч. гр. Л. Н. Толстого; этот том, где между прочими статьями находится и рассказ «Хозяин и работник», вышел в то же воскресенье 5 марта 1895 г. и продавался в доме гр. Толстой в Москве в Хамовниках. Тот же день в четыре часа времени раскуплено было 15 000 экземпляров по 50 копеек за книгу (на 7500 р. с.). 9 марта фирма «Посредник» пустила в обращение народное издание «Хозяина и работника» по цене в 3 коп.». [29]

Набор обоих московских изданий делался с корректур «Северного вестника». Но текст «Посредника», хотя и получил цензурное разрешение 17 февраля – на девять дней раньше «Северного вестника», – испытал перед выходом в свет еще одну дополнительную правку Толстого (184 исправления). Поэтому в основу настоящего издания кладется текст «Посредника».

## ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф на половинке вырванного из тетради листа. Начало: «1) Вас. Андр., уезжая, приказывает об овсе и рушке»; конец: «Но лень встать. Мечты». На обороте листа копия рукой М. Л. Толстой, с поправками и вставками Л. Н. Толстого, отрывка из «Христианского учения». Первоначальный набросок, конспект, лишь частично осуществленный в первой редакции рассказа.

2. Автограф. 15 лл. в 4°, исписаны с обеих сторон и нумерованы рукой Толстого. С многочисленными поправками и вставками на полях и между строк. Начало: «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах на другой день после зимнего Николина дня»; конец: «Никита вылез из саней, огляделся и в 100 сажнях увидел, что чернеется, и пошел туда. Это была деревня».

Рукопись является первой черновой редакцией всего рассказа. Напечатана впервые в журнале «Летопись», 1916, № 1, стр. 104–115, с вступительной заметкой В. С[резневского]. Перепечатывается в вариантах с некоторыми уточнениями по автографу.

3. Копия рукой М. Л. и Т. Л. Толстых с рукописи № 2, с многочисленными поправками и вставками на полях и между строк рукой Толстого. 36 лл. в 4°, между лл. 33 и 34 вставка в 1 л., исписанная с обеих сторон рукой Толстого. Из лл. 4, 6, 9, 11, 12 и 13 вырезки перенесены в рукопись № 4. Начало: «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах на другой день после зимнего Николина дня»; конец: «Ночевал он в 100 сажнях от дороги. Л. Толстой. 25 декабря 1894». Подпись и дата рукой Толстого.

Копия была сделана М. Л. и Т. Л. Толстыми, очевидно, в середине сентября 1894 г. (см. письмо Т. Л. Толстой к матери от 14 сентября), но Толстой взялся за работу над нею лишь в 20-х числах декабря и закончил правку 27 декабря.

Рукопись можно считать второй редакцией «Хозяина и работника». Печатаются варианты №№ 1, 7, 17.

4. Копия рукой М. Л. Толстой и П. И. Бирюкова с рукописи № 3, с многочисленными поправками и вставками Толстого. Без начала, с вырезками и пропусками. Всех листов 58, нумерованных 1–17, 20–24, 26

–34, 36–66, 57–63. Листы исписаны с одной стороны, кроме лл. 51–54 и 63, заполненных и на обороте вставками Толстого. Начало: «успеть доехать до Горячкина, в кот. он торговал дешево продававшийся лес»; конец: «Лучше или хуже ему там стало, мы все скоро узнаем. Л. Т.».

Дата: «25 декабря 1894», рукой П. И. Бирюкова, стоящая в конце перед последней вставкой Толстого, списана с рукописи № 3 и не определяет времени написания рукописи № 4, которую можно датировать 26–28 декабря 1894 г., так как следующая рукопись № 5, являющаяся копией с нее, датирована 29 декабря. Рукопись можно рассматривать как третью последовательную редакцию рассказа. Печатаются варианты №№ 3, 9, 10, 12, 18.

5. Копия рукой М. Л. Толстой с рукописи № 4, с многочисленными поправками и вставками Толстого. Без начала и конца, с пропусками и вырезанными местами. Всего листов и вырезок 57, нумерованных 1–4, 7–11, 13–17, 17а–21, 23–39, 39а–52, 52а–58. Листы исписаны с одной стороны, кроме л. 44, где на обороте находится вставка Толстого. Начало: «Покупка должна была быть особенно выгодная»; конец: «И вспоминает он про Никиту, как он сказал ему: прости Христа ради и ровно на печи». На обложке надпись рукой М. Л. Толстой: «Хоз. и раб. 29 д. 1894». Печатаются варианты №№ 5, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 29.

6. 11 листов и вырезок, списанных с рукописи № 5. Без начала и конца. Рукой П. И. Бирюкова и М. Л. Толстой, с многочисленными поправками Толстого. Начало: «Это был самый смирный, искусный на всякие работы, умный и трудолюбивый человек»; конец: «грозно мотавшийся бурьян этот почему-то навел на него самый большой страх. Про». Печатаются варианты №№ 4, 20, 23.

7. 15 листов и вырезок, без начала и конца, списанных частью с рукописи № 6, частью с других несохранившихся частичных копий, рукой М. Л. и Т. Л. Толстых и П. И. Бирюкова, с поправками Толстого. Листки вынуты из черновых рукописей «Христианского учения», над которым Толстой работал в это время. Начало: «Получив приказание хозяина, Никита взял в сарае»; конец: «Он нагнул голову, ничего не видел и только гнал лошадь, надеясь, что она вывезет его».

8. 30 листов и вырезок, без начала и конца, списанных с рукописи № 7, рукой Т. Л. Толстой, с вставками и вклейками рукой М. Л. Толстой и многочисленными поправками Толстого. Начало: «под носом, если бы он опоздал»; конец: «от ворочавшегося в них и все укладывавшегося хозяина и то задремывал, то опять просыпался». Печатаются варианты № № 24 и 25.

9. Копия рукой Т. Л. Толстой и, вероятно, М. Мейендорф с рукописи № 8, с наклейками из рукописей №№ 6 [?], 7, 8 и еще одной несохранившейся, с вырезками и пропусками. 125 лл., листы нумерованы: 1–116, 116–124 и исписаны с одной стороны, кроме лл. 104, 105 и 116, исписанных и на обороте вставками Толстого. Начало: «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николиного дня»; конец: «Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он или нашел то самое, что ожидал, мы все скоро узнаем. Лев Толстой. 13 я. 1894».

Подпись и дата рукой Толстого. В дате, несомненно, описка, вместо: «1895». Печатаются варианты №№ 2, 6, 8, 14, 16, 21, 27, 28.

10. Копия рукой Т. Л. Толстой и, вероятно, М. Мейендорф с рукописи № 9. 122 лл. в 4°, нумерованы: 1–199 и исписаны с одной стороны, кроме лл. 95 и 108, исписанных и на обороте (вставки Толстого). Поправки Толстого начинаются с л. 49 и становятся особенно многочисленными с л. 95 (гл. VII – размышления покинутого Василием Андреичем Никиты). Деления на главы, как и во всех предыдущих рукописях, нет. Начало: «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николиного дня»; конец: «Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал, мы все скоро узнаем».

Эта рукопись является тем окончательным текстом, который был передан в «Северный вестник» и послужил для набора (об этом свидетельствуют пометки метранпажа, размечавшего листы для раздачи наборщикам).

Подписи и даты нет. Дата – 14 января – определяется на том основании, что рукопись является копией с рукописи № 9, датированной 13 января 1895 г., и что 14 января она была отослана в Петербург Н. Н. Страхову для передачи в редакцию «Северного вестника». Печатаются варианты №№ 30 и 32.

11. Две гранки (гл. VIII–IX) «Северного вестника», с многочисленными поправками Толстого. Начало первой гранки: «Вдруг перед ним зачернелось что-то и послышался какой-то новый звук»; конец: «Что ж это такое? Не может быть, мелькнуло у него в голове». Начало второй гранки: «о чем-нибудь другом надо было думать что-нибудь»; конец: «Только рассветает, и вдруг стало темно и всё исчезло». Печатается вариант № 33.

12. Копия рукой М. Л. Толстой с первой гранки, с поправками Толстого. 2 лл. в 4°. Начало: «Вдруг перед ним зачернелось что-то»; конец: «Это был лошадиный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он очевидно».

13. Копия рукой М. Л. Толстой со второй гранки, с поправками Толстого. 1 л. в 4°. Начало: «Подвинься! сказал он, выгребая снег из саней»; конец: «и не переставая радовался тому, что он отогревается под ним».

14. Копия рукой М. Л. Толстой с гранки и с рукописи № 12, с поправками Толстого. 2 лл. в 4°. Начало: «о чем-нибудь другом, надо было думать что-нибудь»; конец: «не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а». Печатается вариант № 31.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891–1894 годы. Среди них – рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идейная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891–1893 годы голодом.

Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90–е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой... Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться» [30].

1891–1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен» [31].

Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования» [32]. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье–капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891–1894 годов.

В творчестве Толстого 1891–1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.

Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.

Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом... Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально–народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему–то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет» [33]. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно–нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых» [34], как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с

раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».

Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.

В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб – нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещичьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.

Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «...Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»[35], – пишет он в это время Н. Н. Ге.

Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.

Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна – это статьи «О голоде»[36], «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?»[37]. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.

Другая группа – это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель

рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.

В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости» [38].

Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России. Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все им, не, могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея» [39].

В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, – пишет Толстой, – всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели.

Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи – господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».

Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», вернуть награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своей жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продан в рабство[40]. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью поставленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.

Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа – не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».

Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891–1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.

Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».

90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского

крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»[41].

В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891–1892 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»:

«...полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает – и подозревает совершенно справедливо, – что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д. »[42].

В статье «Голод или не голод?», относящейся к 1898 году, Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без особого обсуждения вопроса о каждой новой столовой с земским начальником. Кроме того, без санкции губернатора запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых. Практически все это означало полное запрещение помощи голодающему народу. «Так что, – пишет Толстой, – несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным».

Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами» – помещиками и «батюшкой» царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается... Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «...Нужно, не говорю уже уважать, – пишет он, – а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании – разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии

крестьян».

Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отражали интересы миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства объясняется тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.

Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключается в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром цензура запретила печатание статьи «О голоде» и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушилась на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде».

«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого. «Письма Толстого... являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, – писала газета. – Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков»[43].

Газетам было приказано не перепечатывать статьи из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления»[44].

Враждебно была встречена правительственными кругами и вторая статья Толстого о голоде – «Страшный вопрос». За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Московские ведомости» предупреждение,

как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1896 году за границей.

Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого–обличителя. Сознвая свою глубокую правоту защитника угнетенного многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» в реакционной печати и правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного и честного во всем мире»[45].

## II

Социальные противоречия русской жизни, особенно резко обозначившиеся во время голода 1891–1892 годов, определили идейное содержание и художественных произведений Толстого. Изображение контраста жизни народа и господ становится основной темой его творчества в 90–е годы. Это относится к таким произведениям, как рассказы «Кто прав?» (1891) и «Хозяин и работник» (1894–1895), вошедшим в настоящий том, и особенно к роману «Воскресение», который был задуман и начат в конце 80–х годов, но в основном создавался в 1895–1899 годы, под непосредственным впечатлением того, что наблюдал Толстой во время голода 1891–1892 и 1898 годов.

Рассказ «Кто прав?» Толстой начал писать вскоре по приезде в Бегичевку. Страшные картины, резкие контрасты, которые писателю приходилось наблюдать во время голода, определили содержание рассказа. Все персонажи, сцены, диалоги даются в рассказе в резком социальном противопоставлении. Оборванная женщина с сумой, в разбитых лаптях, и барыня, восхищающаяся своими заграничными туфлями. Замученный нищий мужик, продающий последнего барана, чтобы купить детям хлеб, и сытые тунеядцы, развлекающиеся светской болтовней, флиртом и планами предстоящей охоты. Через весь рассказ проходит мысль о глубоком отчуждении господ от народа, о полном их равнодушии к его нуждам и интересам.

Рассказ не был закончен. Судя по эпиграфу и по тому, что в Дневнике Толстой называет его постоянно «О детях», писатель хотел поставить в рассказе вопрос: кто прав – дети, которые забывают о том, что они «господа», беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести все к расчетливой и «приличной» благотворительности. Как и в статьях

о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о «меньшом брате». Когда С. А. Толстая, прочитав начало рассказа, писала: «Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты, видно, хочешь, чтоб виноватых не было»[46], Толстой отвечал: «Ты не угадала... к чему клонит»[47]. Несомненно, что писатель намеревался ввести в рассказ мотив «виновности» господ.

В 1895 году, обратившись к рассказу «Кто прав?», Толстой решил коренным образом переделать его. Он пришел к выводу, что конфликт детей и родителей – не столь значителен по сравнению с основным конфликтом эпохи – между истощенными от голода, крестьянами и живущими в роскоши и довольстве паразитическими классами. «...Ясно понял, отчего у меня не идет Воскресенье. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ о детях – Кто прав, – записывает Толстой в Дневнике, – я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное»[48]. Вероятно потому, что картина тяжкого положения народа была во всей полноте развернута в «Воскресении», Толстой, увлекшись работой над романом, оставил мысль о переделке рассказа «Кто прав?».

Зимой 1891/92 года в Бегичевке был задуман и рассказ «Хозяин и работник»[49].

Знание народной жизни, деревенского быта позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Трезвый и зоркий наблюдатель жизни русской деревни, Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки». Рабство капиталистическое ложится на плечи трудового народа еще более тяжким бременем, чем крепостное право. Об этом ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника», записал в Дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками в Европе, у нас бечевками. Прежде было рабство – цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть»[50].

Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю». И забитый, приученный рабской жизнью к терпению крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, «что нечего и пытаться разъяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». А другого места нет; да и хозяева всегда и везде одинаковы.

Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.

Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. В рассказе много раз подчеркивается, что он работает весело, охотно, бодро. У него

«добрый, приятный характер»; в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин – грубый, самодовольный и неумный человек.

В дороге Брехунов занят мыслью о предстоящей выгодной покупке, о барышничестве и пытается уговорить Никиту купить никуда негодную лошадь.

В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и решительно, и хозяин подчиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».

Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытые благовидной маской: «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее и циничнее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, с точки зрения интересов многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смирненного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.

Но, как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с «юродивой проповедью «непротивления злу» насилем» [51].

Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность – естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.

Центральным является в рассказе заключительный эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее реальности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна... потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрерывающей службой, от которой он начинал уставать». Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.

Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Писателю–моралисту, проповеднику теории нравственного «просветления», было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была, по мнению Толстого, главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи. Толстой особенно много трудился именно над этими последними главами рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умиленное чудо [52].

По мере работы над рассказом все резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие «трезвого реализма» первой части рассказа и надуманности, неубедительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать этого противоречия. Стремясь его смягчить, он в одном из последующих вариантов мотивирует «просветление» Брехунова уже не мгновенным божественным озарением, а гуманным побуждением – желанием спасти замерзающего Никиту. Но добрые чувства были настолько чужды всему облику Брехунова, что и в такой трактовке финал рассказа продолжал звучать неубедительно.

В окончательной редакции Толстой приближается к реалистическому толкованию этого эпизода. Брехунов спасает Никиту, движимый в большой мере эгоистическим чувством самосохранения. Но в описании последних минут жизни Брехунова писатель попрежнему сохраняет торжественно мистический элемент (фантастический сон, божественный голос), нарушающий реалистическую ткань повествования. В угоду своей идеалистической и реакционной идее о том, что человек, познавший бога и христианскую любовь, способен преодолеть свою социальную природу и стать для бедняка «братом во Христе», писатель рисует смерть Брехунова как акт нравственного перерождения.

Брехунов, как и все «прозревшие» герои Толстого, умирает, не переступив порога новой жизни. Изображение дальнейшей жизни этих людей не могло не обнаружить мнимости их перерождения, показало бы победу собственнических отношений над иллюзорной верой писателя, вскрыло всю наивность и неосновательность его социально-философской концепции [53].

В рассказе «Хозяин и работник» отчетливо проявляются характерные черты художественной манеры позднего Толстого.

Обыкновенного, заурядного человека писатель исключает из обыденно-прозаической действительности и ставит его в такое положение, которое дает ему возможность увидеть себя и свою жизнь в новом свете. (Неожиданная мучительная и смертельная болезнь чиновника Ивана Ильича, убийство добропорядочным дворянином Позднышевым своей жены, смерть в лесу замерзающего купца Брехунова.) Такая нарочитая драматизация ситуации позволяет Толстому с особой силой и глубиной сорвать «все и всяческие маски» с традиционных, установившихся общественных и личных отношений.

В то же время «исключительное положение» героя нужно Толстому для утверждения, что спасение от противоречий реальной жизни, от социального зла – в нравственном просветлении.

Одна из особенностей таланта Толстого – способность к тонкому психологическому анализу, умение раскрыть «диалектику души». Однако психологический анализ в поздних произведениях Толстого отличается большим своеобразием.

Психический процесс интересует теперь писателя лишь в том случае, если он является следствием душевной неудовлетворенности, борьбы,

сомнений, ведущих к коренному перелому взглядов, представлений, поведения героя. Катастрофа, драматическое событие, благодаря которым начинается нравственное просветление героя, становится необходимым, центральным элементом сюжета. Именно поэтому в «Хозяине и работнике» психологический анализ сосредоточен на самом главном, с точки зрения автора, «переломном» эпизоде – последних мгновениях жизни Брехунова.

Повторение характерной детали, свойственное художественной манере Толстого, широко используется в «Хозяине и работнике» как средство типизации характера, выразительности портрета, речи персонажа, психического состояния, явления природы и т. д.

Описание метели, например, достигает необычайно сильного эмоционального впечатления благодаря повторяющемуся упоминанию об отчаянно треплющемся на ветру замерзшем белье, страшно гудевших лозинах, одиноком чернобыльнике.

Постоянно упоминаются в рассказе выпуклые, ястребиные глаза Брехунова, легкая, бодрая походка «гусем ступающих ног» Никиты; в речи Брехунова повторяются слова: «мы по чести», в речи Никиты – «душа милая», являясь примером поразительного умения Толстого удачно найденной деталью раскрывать существенные черты человеческой индивидуальности.

Среди других художественных произведений, вошедших в настоящий том, наибольший интерес представляет незаконченная повесть «Мать» (1891). Замысел ее связан с обострившимся в конце 80-х годов интересом Толстого к проблеме семьи и воспитания детей, которая была поставлена им как часть большого, общего вопроса – о порочности социальных и этических основ буржуазно-дворянского общества. В произведениях на эту тему, прежде всего в «Крейцеровой сонате» (1887–1889), писатель беспощадно обличал паразитическую и аморальную жизнь господствующих классов.

«Мать» – далеко не завершенное произведение, но и в известных нам отрывках начала повести отчетливо видно стремление Толстого показать, что среди привилегированных классов, где отношения между людьми проникнуты лицемерием и обманом, а дети воспитываются в условиях роскоши и праздности, не может быть хорошей семьи, «нет... честного брака». [54] Мужу героини повести Толстой намерен был противопоставить самоотверженного труженика – учителя Петра Никифоровича. Петр Никифорович и был единственным человеком, имевшим благотворное влияние на детей.

Мысль о том, что «нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему» [55], то есть живущему в праздности, чужим трудом, – определяет идейное содержание повести «Мать», как и большинства произведений Толстого 80–90-х годов. Однако разрешение этого глубокого социального вопроса Толстой видит лишь в следовании отвлеченным «истинам» морали и религии. Именно поэтому в образе Петра Никифоровича, воплощающем его положительный идеал, писатель подчеркивает и поэтизирует прежде всего высокие «христианские» качества: суровый аскетизм, пренебрежение материальными благами,

полное самоотречение.

### III

Для характеристики эстетических взглядов Толстого в рассматриваемый период большой интерес представляет «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова». Как и в других статьях 80–90-х годов об искусстве, Толстой утверждает в этом предисловии, что искусство должно быть поставлено на службу интересам народа, быть доступным широким народным массам. В период, когда писалось предисловие к рассказам Семенова, Толстой все больше и больше убеждается в том, что подлинная цель искусства – изображать жизнь трудящегося народа, что единственный читатель, для которого можно трудиться с увлечением и с пользой, – это читатель из народа. «Не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей, – пишет он в 1895 году дочери Марии Львовне. – А если подумаю, что пишу для Афанасьев и... для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать» [56].

С особенным вниманием и любовью относится в это время Толстой к сочинениям писателей из крестьян – С. Т. Семенова, Ф. А. Желтова, Ф. Ф. Тищенко и др. Он заботится об издании их произведений в «Посреднике», в различных журналах и сборниках, дает им советы и указания. Под непосредственным влиянием Толстого создавались реалистические произведения этих писателей, проникнутые любовью к народу и основанные на знании жизни народа. С другой стороны, не без влияния и поддержки Толстого утверждались в их творчестве и религиозно–моралистические тенденции, обусловленные принципом «описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия...» [57]

С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 году, когда принес ему «на суд» первое свое произведение – рассказ «Два брата». Толстой одобрил рассказ, и вскоре он был напечатан в издательстве «Посредник». С тех пор Семенов часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне, вел с ним переписку. Толстой принимал живейшее участие в литературной работе Семенова, высоко ценил его литературное дарование, знание и правдивое изображение им крестьянской жизни.

В 1894 году к первому сборнику рассказов Семенова Толстой написал предисловие. Давая оценку «Крестьянским рассказам», Толстой отмечает, что их содержание «всегда значительно... оно касается самого значительного сословия России – крестьянства». Большим достоинством произведений Семенова он считает правдивость, искренность, простоту художественной формы, народность языка, яркость речевых характеристик персонажей. Все это и определяет, по мнению Толстого, силу воздействия этих рассказов на читателя.

С другой стороны, всецело в духе своего религиозно–нравственного

учения, Толстой утверждает, что главное в художественном произведении и, в частности, в рассказах Семенова – оценка автором поведения героев с точки зрения «идеала христианской истины». Справедливо требуя от художника не только изображать, но и оценивать людей, их поступки, Толстой считает отвлеченную «христианскую истину» основным критерием этой оценки.

Предисловие к «Крестьянским рассказам» было написано в пору напряженного интереса Толстого к эстетическим вопросам. Как и в ряде статей 1889–1891 годов и в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» [58], Толстой в предисловии к рассказам Семенова утверждает те принципы искусства, которые были обоснованы им позднее в трактате «Что такое искусство?». Беспощадное отрицание лжеискусства, являющегося праздной забавой эксплуататорских классов, оправдывающего их привилегированное положение, и утверждение искусства, которое ставило бы своей целью служить интересам народа, составляют содержание этих статей. Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейско-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в этой мечте Толстого о народном искусстве.

#### IV

По мере приближения революции 1905 года, обострения в России социальных противоречий у Толстого все чаще возникали сомнения относительно возможности переустройства жизни на основе непротивления и нравственного совершенствования, и он приходил к справедливому выводу, что «господ... ничем не проберешь». Несмотря на это, он настойчиво, до последних дней своей жизни, проповедовал свои «рецепты спасения человечества». В наибольшей мере слабые стороны взглядов Толстого проявились в таких статьях, помещенных в настоящем томе, как «Первая ступень», «Неделание», «Предисловие к дневнику Амиеля».

Содержащаяся в «Первой ступени» критика господ, у которых весь интерес жизни состоит в «жранье», критика, напоминающая обличительные страницы «Плодов просвещения», является в статье второстепенным моментом по сравнению с проповедью вегетарианства – «первой ступени», по мнению Толстого, на пути к «истинному христианству».

Статья «Неделание» (1893) посвящена разбору речи Э. Золя «Юношеству» и письма А. Дюма-сына редактору французской газеты «Голуа». Речь Золя была направлена против распространившегося в конце прошлого века среди буржуазно-дворянской интеллигенции увлечения мистицизмом и фидеизмом. Предостерегая молодежь от этого увлечения, Золя призывал их верить в науку и труд, которые дают, по словам Золя, смысл жизни и служат залогом ее неуклонного совершенствования. Идеалист Дюма, отвечая на статью Золя, напротив, все свои упования

возлагал на «христианскую веру», которая якобы объединит всех людей в стремлении к братской любви, избавит их от существующего зла и несправедливости.

Известно, какое конкретно-историческое содержание заключено в призыве Золя верить в науку и труд. Трезвый наблюдатель капиталистического общества, писатель-реалист, беспощадно разоблачавший пороки этого общества, Золя вместе с тем сам не был свободен от буржуазных предрассудков. Его представления о борьбе за справедливый социальный строй сводились, в конечном счете, к программе буржуазного реформизма.

Оценивая все события современной ему жизни с точки зрения интересов многомиллионного патриархального крестьянства, Толстой зорко подметил уязвимые места речи Золя. Он справедливо протестует против отвлеченной постановки вопроса о науке и труде, так как знает, что в буржуазном обществе труд служит, главным образом, обогащению эксплуататоров за счет эксплуатируемых, а буржуазная наука – оправданию существующего строя. «Пусть каждый усердно работает. Но что? – спрашивает Толстой. – Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?»

Однако то, что противопоставляет Толстой призывам Золя, свидетельствует о его собственном бессилии указать подлинные пути изменения жизни. Соглашаясь с А. Дюма, Толстой надеется, что достаточно людям постигнуть евангельскую «истину» о «неделании» (не делай того другим, чего не хочешь, чтобы сделали тебе), как мир преобразуется сам собой. Мечтая о «коллективистическом складе жизни», Толстой высказывает утопическую и реакционную идею, что имущие слои общества способны осознать свой «грех», раскаяться и признать «обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека». Так статья «Неделание» еще раз доказывает, что Толстой не сумел найти подлинный выход из противоречий современной ему действительности. Его «рецепты спасения человечества» не могут быть оценены иначе, как заблуждения, отражающие «незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»[59] патриархального крестьянства в период подготовки и проведения первой революции в России.

---

В идейном содержании помещенных в настоящем томе произведений Толстого со всей отчетливостью проявились острые противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе непротivления бедных и добровольного отказа собственников от своих привилегий; разоблачение подлой морали грабителей народа – с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» – с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность

и всесилие «христианской любви».

Но при всех свойственных ему «кричащих противоречиях» Толстой выступает в 90-е годы как непреклонный и смелый обличитель помещичье-капиталистического строя, защитник интересов трудящихся масс. «Безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов» [60] своего времени свидетельствует о его страстном интересе к народной жизни, о его высоком понимании писательского долга.

Л. Опульская

#### РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ТОМУ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение \* как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что текст печатается впервые; \*\* – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

## Иллюстрации

Автотипия: Л. Н. Толстой составляет списки нуждающихся крестьян. 1892 г. Фотография. Между IV и V стр.

## Примечания

1

В рукописи описка: снегу.

2

Зачеркнуто: с молодю попал в ящики и отвык от

3

Зач.: Действительно, в то самое время, как Вас[илий] Андр[еич] выходил из сеней, ветер как будто рванулся, усиливаясь, и погнал снег не только с крыши, но и с дороги. Сверху снегу не было, но было морозно и мело.

4

Зач.: каким он всегда бывал с первых рюмок.

5

Зачеркнуто: – Право возьми, – упрямо, как дувший ветер, повторяла хозяйка, перекутывая на другую сторону платок.

6

Зачеркнуто: <присев на корточках за санями закрываясь полою шубы

7

Зач.: Он надеялся, что папироска разгонит этот страх, но папироска не разгоралась.

8

Зачеркнуто: Я велел ехать. Тоже старался. И вдруг мысль о Никите привлекла его. Он стал вспоминать, как он нанял его, как он служил ему, выживал жеребенка, как он мальчишку его ласкал. «Мужик смирный! Кабы не я, не замерз бы.

9

Зач.: И ему стало жалко Никиту.

10

Зачеркнуто: Ему казалось, что пора бы ей спускаться в овраг, но она не спускалась. «Не завезла бы она его куда прочь от саней».

11

Зач.: Лошадь охотно шла по ветру.

12

Зачеркнуто: А новое было скорее приятно.

13

Зач.: чувствуя себя одинаково готовым к тому, заснуть и проснуться на том свете, или заснуть и проснуться еще на этом и опять кормить лошадей, возить воду, чистить навоз, и ездить на мельницу и в город, и отсылать деньги жене. Он

14

Зачеркнуто: Он слышал, что В[асилий] А[ндреич] отвязывал лошадь и влезал на нее, но когда сани покачнулись набок от ставшего на их край В[асилия] А[ндреича], его толкнуло задком, засыпало снегом и расстроило его сиденье. Улегшись, снег обсыпал его, и задок саней отдалился от его спины и концом полоза его ударило в бок. Никита с трудом встал и почувствовал мучительный холод и хотел тотчас же опять лечь.

15

Зачеркнуто: Я–то жив, да и в шубах. А человек помирает. И ему вдруг жалко стало Никиту, вспоминая, как он не дал ему веретья. И ему так захотелось спасти, согреть Никиту, что он не думал ни

16

Зачеркнуто: и сам заснул

17

Е. И. Раевская, «Лев Николаевич Толстой среди голодающих» –  
«Летописи Государственного литературного музея», кн. 2, М. 1938,  
стр. 400.

18

Т. 52, стр. 137.

19

Т. 84, стр. 221.

20

Т. 52, стр. 141.

21

Т. 84, стр. 224.

22

Т. 52, стр. 157.

23

Т. 53, стр. 3.

24

Т. 68.

25

Там же.

26

Там же.

27

Там же.

28

Т. 68

29

«Воспоминания» Е. И. Раевской, стр. 191, запись от 11 марта 1895 г.  
– ГМТ.

30

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66–67.

31

Т. 66, стр. 224.

32

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293–294.

33

Т. 52, стр.43.

34

Письмо к Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. – т. 66, стр. 12.

35

Т. 66, стр. 81.

36

Газета «Московские ведомости», перепечатав в 1892 году отрывок из этой статьи в переводе с английской публикации, назвала ее «Письма о голоде», очевидно приняв статью за цикл писем, посланных Толстым в иностранные газеты. Под этим произвольным названием статья перепечатывалась в последующих изданиях. В настоящем томе восстанавливается подлинное название статьи.

37

Статья «Голод или не голод?» была написана в 1898 году, когда в

России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891–1893 годах, принимал участие в помощи голодающим. Она чрезвычайно тесно связана тематически со статьями о голоде 1891–1893 годов, поэтому помещается в настоящем томе.

38

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

39

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.

40

Несомненно, что в непосредственной связи с мыслями и переживаниями Толстого во время голода находится тот факт, что он принялся в 1894 году, после длительного перерыва, за обработку легенды о Петре Хлебнике.

41

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 231.

42

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 216–217.

43

В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М. – Л. 1934, стр. 261.

44

Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, М. – Л. 1936, стр. 465.

45

Т. 84, стр. 128.

46

С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, М. – Л. 1936, стр. 468.

47

Т. 84, стр. 104.

48

Т. 53, стр. 69.

49

См. в наст. томе историю писания и печатания «Хозяина и работника».

50

Т. 53, стр. 317.

51

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

52

См. наст. том, стр. 304.

53

Ярким доказательством этого служит творческая история романа «Воскресение». В конце романа Толстой приводит Нехлюдова, как и Брехунова, к нравственному «воскресению» и заявляет, что с этого момента началась у Нехлюдова иная, новая жизнь. Однако позднее, когда Толстой задумал продолжение «Воскресения» – о «крестьянской жизни» Нехлюдова, он так наметил в Дневнике 1904 года план этой своей работы: «...Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины» (т. 55, стр. 66).

54

Из письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову от 24 апреля 1890 г. – т. 87, стр. 24.

55

Т. 51, стр. 57.

56

Т. 68.

57

Л. Н. Толстой, «Предисловие к сборнику «Цветник» – т. 26, стр. 308.

58

См. т. 30.

59

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.

60

Там же, т. 16, стр. 296.